

ВРЕМЯ ШМБ 8 1976

СРЕДИ НЕВЕРИЯ И СУЕТЫ,
В МИРЕ, ГДЕ ГРУБАЯ СИЛА И ЛОЖЬ
СТАНОВЯТСЯ НОРМОЙ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ,
МЫ ИСПОЛНЕННЫ ОДНОЙ ЛИШЬ ЦЕЛЮ -
ПОМОЧЬ ЧИТАТЕЛЮ
ЛУЧШЕ РАЗОБРАТЬСЯ
ВО ВРЕМЕНИ И В СЕБЕ



Зиновий Зиник

Извещение

Моше Шамир

Мир перед пропастью



Михаил Айзенберг

Стихи одного года

Леонид Иоффе

Вновь как заново



Ю. Марголин

Путешествие
в страну Зэка

(Неизвестные главы)



Владимир Аллой

Прорыв
в бесконечность

(Стихи И.Бродского)



ВРЕМЯ И МЫ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ.

№ 8 июнь 1976

Выходит один раз в месяц

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Зиновий Зиник

"Извещение" 3

Ю. Марголин

"Путешествие в страну Зэка"

(Неизвестные главы) 84

ПОЭЗИЯ

Леонид Иоффе

"Вновь как заново" 115

Михаил Айзенберг

Стихи одного года 119

ПУБЛИЦИСТИКА

Моше Шамир

"Мир перед пропастью" 122

Борис Хазанов

"Новая Россия" 135

КРИТИКА

Владимир Аллой

"Прорыв в бесконечность"

(читая стихи Иосифа

Бродского) 147

ИЗ ПРОШЛОГО

Виктор Перельман

"Отрицание отрицания" 159

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

"Новейший Плутарх" 200

"Тигр" 211

Коротко об авторах 215

DIGEST OF 8 ISSUE 217

OF "VHEMIA I MI" ("TIME AND WE")

Главный редактор

Виктор Перельман

Редакционная коллегия:

Владимир Абрамсон

Фаина Баазова

Георгий Бен

Лия Владимировна

Егошуа А. Гильбоа

Илья Гольденфельд

Михаил Занд

Михаил Калик

Вадим Меникер

Борис Орлов (*зам. гл. редактора*)

Наталия Рубинштейн

Йосеф Текоа

Аарон Ярив

Представитель журнала в США Эдуард Штейн

7 Miles Ave, Woodbridge,

Conn. 06525 t. (203) 387 05 97.

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.



Все права на литературные произведения, опубликованные в журнале "Время и мы", принадлежат их авторам.

ПРОЗА



Зиновий ЗИНИК

ИЗВЕЩЕНИЕ

Жена не приезжала. Не могла приехать сейчас. Или не хотела никогда. Писем не было уже так долго, что бесполезно было оправдывать их отсутствие работой почты и всех черных кабинетов на свете. Ночью я, как обычно, сначала сразу задремал, а потом проснулся и, устав ворочаться, встал и написал еще одно письмо в космическую пустоту почтового ящика. Это было неизвестно какое по счету письмо, звучавшее как китайский ультиматум, повторяющее одну и ту же мысль: что сведение счетов по почте и выяснение, кто кого бросил, означают и сводятся к одному — она продолжает не ехать, а если так, то чего выяснять, кто кого бросил. В результате я заснул под утро, и, как всегда, мне снился неприятный своей реальностью предутренний сон. Я снова входил в свой московский подъезд и, повернувшись к батарее синих удлиненных почтовых ящиков на стене, заметил в нашем ящике что-то белое. Ящики

запираются на ключ, но в каждом есть длинная узкая щель толщиной в палец и несколько круглых дырок, и сквозь них я, нагнувшись, разглядел почтовую открытку. Открытка видна сквозь круглые дырки ясно и отчетливо, и там все написано, там все сказано, почему со мной не говорят прямо, а отделываются сквозь зубы брошенным "не знаю". Я сую руку в карман, но ключ от почтового ящика, конечно, остался дома. А домой я попасть не могу, потому что ключ от квартиры есть только у жены. Я пытаюсь просунуть сквозь узкую щель пальцы, чтобы вытянуть открытку. Я уже дотягиваюсь до нее, надо осторожно перебирать пальцами и тогда, подтянув ее вверх к щели, захватить второй рукой. Но открытка скользит и в самый последний момент снова падает на дно ящика. Я заглядываю в дырочки и делаю еще одну попытку. Потом другой рукой просовываю пальцы сквозь дырочки и пытаюсь подтолкнуть еще и снизу. Но тогда она отодвигается назад, и пальцы снова ее выпускают, я снова пытаюсь просунуть пальцы сверху, я чувствую ее теплоту и одновременно глянцеvitость и снова пытаюсь просунуть пальцы сквозь дырочки и уже добрался до острого ребра, где марки, мне удалось перевернуть ее на другой бок, сейчас надо слегка руку вверх, придерживая ее снизу, осторожно одним пальцем подталкивать вверх, но она выгибается, пытается вывернуться, я уже держу ее пальцами обеих рук, но не просунешь всю ладонь, как ни старайся, а она выгибается и выскальзывает, и я не могу удержать ее, и она снова падает на дно, и я, обессиленный, убираю руку и вдруг чувствую резкую боль. Я подымаю руку к глазам и вижу, что у меня все пальцы в крови, в некоторых местах содрана кожа и невозможно даже достать из кармана платок, потому что весь перепачкаешься.

— Уборка! — еще и еще раз послышался крик из-за двери, и настойчивый стук в дверь напомнил прежние страхи перед всяким стуком в дверь, и настойчивая интонация уборщицы напомнила прежний страх перед всякой настойчивой интонацией, и необходимость отъ-

езда, и поспешность проводов, и страх полета в неизвестном направлении. И слово это, прозвучавшее на другом языке, было настолько привычным, что потеряло свою экзотичность и прозвучало совсем по-русски, и я снова спутал, где я нахожусь, и даже если я не нахожусь в Москве, означало это слово только одно: что мне нужно убираться из комнаты этого общежития для новоприбывших. Впустив уборщицу и умывшись под плывущимся краном, я захватил написанное ночью письмо и стал спускаться вниз. Написанное ночью письмо продолжало звучать в голове, и я чувствовал, что в нем есть некая ложь обвиняющего: в том, что ведь виноват в конечном счете я, потому что, связав свою судьбу с ней, поставил ее в такую ситуацию, когда она выходила виноватой из-за того, что не могла решиться на отъезд. И как будто в укор мне, когда я с привычным напускным безразличием глянул на гостиничные почтовые ячейки внизу, моя рука выхватила московское письмо с наклейкой: "нарочным: экспресс". Сдерживая дрожь в руках и прикрывая письмо от охранника, проверявшего бомбы у входящих и выходящих и собирающего почтовые марки, я с жадностью глядел на спрутов в соседстве трех космонавтов рядом с Лениным на фоне электрической лампочки, сиявших с почтовых марок. По маркам всегда можно отгадать содержание, охранник эти марки не получит, они останутся как напоминание наклеенными на конверт. Я удержался и не вскрыл конверт, а только медленно ощупывал его, отгадывая толщину письма и слова за бумажной преградой. Надо поехать в центр, устроиться в спокойном месте и за едой медленно и постепенно вычитывать слова из конверта. А потом решить, отправлять или не отправлять написанное ночью письмо. Я доехал до главпочтамта, и, проходя, еще раз удержался, чтобы не зайти и не бросить это письмо в ящик, и с упорством бездельника стал кружить по соседним улицам, отыскивая подходящее заведение. Было холодно, вчера падал снег, и хотя небо сегодня прояснилось, но дул пронизывающий ветер, и только

когда я дотрагивался до конверта с письмом жены во внутреннем кармане, теплая волна пробирала меня до макушки. Это прикосновение к материальному предмету оттуда как бы сталкивало на секунду две вселенные, движущиеся параллельно по разные стороны колючей границы, и оттого, что снова был январь, я снова еще раз вернулся в ту же погоду, я снова приехал и видел себя идущим со стороны. Мне снова стало холодно, я чувствовал себя полупроснувшимся, и мне захотелось горячего супу. Горячего фасолевого супу. Я шел мимо рабочих мастерских; и стук молотков, и вспышки электросварки в дневном свете из темных гаражей заставили меня присмотреться к улице, по которой я иду: это была улица Маммила, и на этой улице есть хорошее заведение, и там дают хороший фасолевый суп с мясной костью. Я решил зайти туда, во-первых, потому что у улицы хорошее название, напоминающее и маму, и милую, а во-вторых, она в таком квартале, где лица черные или от происхождения, или от работы и где поэтому не встретишь знакомых, которые тут же начнут спрашивать, переехал ли я на квартиру, получил ли работу и взял ли посуду на холодильник. И потом эта улица, выходящая к воротам старого города, была настоящей улицей с рядами высоких многоэтажных домов по обеим сторонам, широкая, обыкновенная, что так редко в этом городе, улица, странно напоминавшая одну из московских улиц, ведущих к трем вокзалам, и это еще больше приближало меня к предстоящему медленному чтению письма. И заведение это уютное и чистое, а хозяин, коренастый и лысый, с темным лицом и с глазами цвета подсушенной сливы, не пристает и не косится, а всегда ненавязчиво, по-домашнему рекомендует. Там обычно обедают шоферы грузовиков, но не доходяги, а такие вот аккуратные шоферы больших грузовиков, которые знают, как поворачивать на большой скорости и где спокойно пообедать фасолевым супом. И еще там удобные стулья с мягкими спинками и столики под мрамор и все говорит о том, что сюда приходят, предварительно смыв следы

машинного масла. Когда я вошел, заведение было пусто, было рановато для обеда. Я сел за столик в углу, лицом к улице, и смотрел на холодное солнце, пересекающее четыре столика и стойку, проходя сквозь распахнутое окно у двери, через которое хозяин торговал фалафелем. Он, видно, меня хорошо помнил, потому что сразу спросил утвердительно: "Фасолевый?" — и, не дожидаясь ответа, крикнул мальчику в кухне: "Фасолевый, погуще!" И сказал, расставляя на столе хлебные лепешки и пиво, что сегодня в супе очень вкусная и наваристая суповая кость. Я ел медленно, выбирая на ложку разваристые крупные фасолины, и соус был горячий и острый, и я запивал все это пивом. Потом, как это делают шоферы, я вытер остатки кусочком хлебной лепешки, отставил тарелку и, закулив, стал допивать медленно пиво, поглядывая на улицу. Потом, совсем согревшись, от супа ли или солнца, начинавшего пригревать, или от письма, лежавшего в нагрудном кармане, я почувствовал, что готов вскрыть конверт. Я подождал, когда мальчик уберет посуду, попросил чистый нож и осторожно вскрыл конверт по верхнему клапану, так, чтобы конверт остался целым. Еще не вынув письма, я закурил еще одну сигарету и, медленно потягивая пиво, поглядывал по сторонам, перед тем как развернуть письмо. Пиво не столько опьяняло, сколько просветляло, и сон вместе с ночью, разделявшей жизнь на два времени, на здесь и там, на там и тут, уходил вместе с припоминанием о том, что случилось позавчера и что случится послезавтра. И это припоминание вместе с письмом, лежавшим рядом под рукой, заставляло выстраивать цепочку сопоставлений с другими припоминаниями и другим письмом, и это создавало ощущение невидимой работы и продвижения вперед и подталкивающего вперед приближения к истине. Я придвинул конверт поближе и глядел, как две волны теплого зимнего света шли из двух противоположных концов заведения, рассекая друг друга светом, отраженным противоположным окном, и, встретившись, они закручивались

и откатывались золотой пылью, и воздух начинал плыть сам в себе, и вместе с ним стала раскачиваться вся комната, как большой самолет, летящий в неизвестном направлении. И я не удивился, когда заметил напротив себя в темноватом, закрытом от солнца углу скомканную фигуру человека. Он сидел, положив голову на скрещенные на столе руки, и, судя по клочковатым седым волосам, можно было сказать, что это старик, но сказать этого нельзя было с уверенностью, потому что вытянутые на столе руки были слишком сильные и молодые, это сразу бросалось в глаза. Перед ним стоял пустой стакан, и завернувшее в его угол солнце желтело лужицей коньяка на столике. "Ничего странного, — подумал я, — странно только, что он здесь спит, обычно здесь сидят чинно и аккуратно такие вот старики, сидят часами за стаканом пива, а он вот спит, как старый пьяница". Я допил последний глоток и вынул письмо из конверта:

"Я долго думала: писать тебе или не писать или подождать, какое от тебя придет письмо, но потом решила на все наплевать и отправить открытку, поднявшись над нашими кухонными дрязгами по почте. Так вот вчера, после того как я зашла на почтамт и отправила тебе эту открытку (ты ее, я думаю, уже получил), мне надо было идти на день рождения, сам знаешь к кому. Купив бутылку "Каберне", я почему-то не нашла никакого транспорта с Кировской на Трубную, а так как было довольно рано, отправилась пешком вниз по бульварам. Мне очень нравилось идти: погода теплая, но очень сырая, и я вышла из толкучки метро и попала на абсолютно пустой бульвар, и было жутковато немножко, хотя еще совсем светло. Я никуда не торопилась и себя воспринимала со стороны, знаешь, бывает такое состояние, как будто смотришь кино про себя: вот я отправила письмо, вот иду грустная по мокрому пустынному скверу и вспоминаю все прошлые дни рождения, когда вот так же и не так я шла по этому скверу. В общем-то, вполне оптимистическое состояние, потому что в кино все просто: после этих кадров — титры: "прошло десять

лет". И все сразу узнаешь, а ведь что-то будет через десять лет, не может быть, чтобы ничего не было. Хотя, конечно, все варианты и так ясны, кроме, конечно, мировой катастрофы, и многие, кстати наиболее простые и не требующие никаких усилий, не стоят того, чтобы показывать в кино: так скучно, и тоскливо, и неинтересно".

Я остановился на секунду и взглянул на дату: письмо было месячной давности. А мне его нужно воспринимать написанным сейчас. А мой ответ придет еще через месяц, и будет восприниматься как ответ не на это письмо, а на то, которое она напишет, когда будет получать это мое письмо и никак нельзя совместить эти два времени. Тени от солнца шли по словам, написанным крупным детским почерком, а потом вдруг, как все в Иерусалиме, солнце зашло за высокие дома, и сразу внутри стало сумеречно, и хозяин зажег лампы. Свет еще незашедшего солнца вместе с электрическим создавали странное ощущение временности всего происходящего, неясность часа, как будто нужно совершить небольшое усилие и все изменится в противоположную сторону. Я закашлялся — дым попал не в то горло — и, как бы прикрываясь, поднес письмо к губам и поцеловал его:

"Потом, полупьяная, я ехала одна в метро, а потом, пробираясь к нашему подъезду, я поняла, что мне не на что надеяться, кроме как на чудо, что вдруг, когда я как-нибудь вернусь домой, ты будешь меня ждать, и я не буду полупьяная рыться в сумке в поисках ключа, а просто нажму звонок — и ты мне откроешь дверь, нет, но как ты мог, убийство, конечно, убийство, и как у тебя поднялась рука. Сидя здесь, я совершенно реально ощущаю, что этого не может быть, не может быть, чтобы тебя не было, бред какой-то, но я это писала тысячи раз. Просто у меня иногда бывают приступы ярости: зачем, с какой стати мы с тобой теряем единственное, что у нас есть, и плевать мне на всех еврейских и нееврейских богов. Сон, конечно, прекрасный, но, к сожалению, в действительности все будет не так романтично: на-

верное, ты просто когда-нибудь, через много лет все-таки появишься в этой стране и увидишь старую, усталую, раздраженную женщину без всякого другого мужа”.

“Или ты появишься в конце концов здесь и увидишь старого, усталого, раздраженного мужчину без всякой другой жены”, — подумал я только для того, чтобы чем угодно заполнить звон в ушах от этого укора, и боли, и несчастья, и чудовищной вдруг паузы, молчания. Перекошенным взглядом я смотрел впереди себя, и как в замедленной киноплёнке, человек в углу поднял голову и посмотрел прямо на меня. Прямо на меня посмотрел он, но взгляд был не прямой, это был взгляд выцветших и сожженных глаз, глаз человека, который работал всю жизнь в типографии или с какими-нибудь вредными химическими препаратами на заводе; а может быть, он смотрел так, как всякий неожиданно разбуженный человек. Встретившись взглядом со мной, он опустил глаза, поднял к губам пустой стакан и, запрокинув его, долго следил, как последняя капля коньяка скатывается по стенкам стакана, так и не дойдя до губ. Потом он снова поднял на меня глаза. Это был не просто состарившийся человек: изможденная старая развалина. Неожиданно он тяжело приподнялся и направился к моему столику. Я инстинктивно накрыл письмо руками.

Не спрашивая разрешения, он уселся напротив меня и снова, не мигая, поглядел своими не то заплаканными, не то выжженными глазами. Я отвел взгляд и стал запихивать письмо в конверт, стараясь сделать вид, что я его не замечаю.

— Все письма пишете? — вдруг спросил он по-русски.

Я настолько не ожидал услышать русский язык здесь, в этом заведении, куда я зашел, надеясь, что здесь я не услышу картавого языка русских провинций, наводнившего Иерусалим, что от неожиданности поднял глаза от конверта и посмотрел на него. Его губы тряслись не то от беззвучного смеха, не то от плохо скрываемой гримасы плача.

— Я ведь тоже письма писал, — продолжал он, не об-

ращая на меня внимания, знакомой скользкой московской скороговоркой, — плохо для вас это может закончиться. Экспонатом станете. Тем более в этом заведении, — сказал он и обернулся через спину, когда дверь хлопнула, как будто он кого-то ждал. Но дверь хлопнула от ветра.

“Чего этому старому алкоголику нужно?” — огрызнулся я про себя и деловито посмотрел на часы.

— Не думайте, что у вас времени на две жизни, хотя вы еще совсем молоды, — продолжал он в своей непонятной тряске губами, как будто губы нашептывали сами по себе про себя, пока голос обращался ко мне. Он облизнул пересохшие губы. — Совсем мальчик, совсем как я вчера. Только вчера я был совсем как вы, когда вся жизнь впереди, неясно только, куда ее девать.

“Сумасшедший гомосексуалист”, — решил я, недовольно состроив гримасу, демонстрирующую нежелание слушать. Но тут он заговорил, почти не обращаясь ко мне, и то, что он говорил, заставило меня вопреки желанию начать прислушиваться:

— Вы же не знаете Иерусалима: здесь у людей отсутствует возраст. Здесь все всё помнят: как помнит каждый человек все, что с ним произошло от зачатия до рождения, помнит и не знает об этом. По этой земле прокатилось до вас такое количество народов и цивилизаций, что все предстоящее случиться с вами уже случилось с вашим предшественником на вашем месте. Тут нельзя найти новую жизнь. И новую смерть тоже нельзя найти. Сколько вам лет — двадцать? тридцать? Мне тоже было вчера — или когда? — тридцать три, но вы все равно не поверите. Хотите я вам расскажу, как я умер, то есть умру через несколько часов? Сколько идет письмо из Иерусалима в Москву? Если предположить, что без цензуры, потому что какая может быть цензура на извещение о смерти? Когда моя жена получит письмо, я умру. Впрочем, я не уверен, жива ли она сама. Вот только бы дождаться эту чертову бабу.

“Чертова баба” прозвучало так комически после

всех загадочных слов, которые он проговаривал, что я невольно ухмыльнулся. Он заметил мою улыбку и передернулся, и мне вдруг стало стыдно, и, как бы искупая этот стыд, я сделал все, чтобы он почувствовал, что я слушаю внимательно. Он говорил одновременно раздраженно и умоляюще, как будто напал на последнего и единственного в своей жизни собеседника, как человек, промолчавший слишком долго, чтобы не использовать до конца слушателя, на которого он напал. Черт с ним, послушаем и это. Если это даже и бред, то, во всяком случае, систематический. В конце концов, решил я, из этого монолога выйдет еще одно интересное письмо в Москву.

— Все пишете письма жене? Чтобы приезжала немедленно, потому что каждое письмо — и ее, и ваше — еще один повод для словесной перепалки, то есть еще одна дискуссия, кто кого оставил, а значит — еще один повод пока не ехать?

— Откуда вам известно, что у меня жена в Москве? И вообще, какое вам дело? — огрызнулся я. Как всякое ироническое замечание со стороны, оно превращало неповторимость твоего несчастья в досадную нелепость. Этот старик становился назойливым.

— Во-первых, кольцо на руке. Во-вторых, женское имя на обратной стороне конверта. Я, видите ли, большой специалист по почтовым вопросам. А может быть, я ошибаюсь, и у вас нет никакой жены в Москве. Но если я все-таки прав, вы напрасно надеетесь, что она придет. Я вижу по вашим глазам, как вы с ней разговаривали. Вы не знаете, что значат слова для женщины. Слова, однажды услышанные, когда ее оставляли, слова с которыми она никогда не смирится. Она никогда не простит того, что она оказалась в такой ситуации, когда была вынуждена признать собственную неправоту. И произошло это только потому, что она не захотела подчиниться. Хотите процитирую: "даже если я не права он не имеет права придерживаться собственной правоты потому что, если бы он меня любил, я была бы права

в любом случае". Не нравится? Но я сам уже устал от этих слов. Я за эту ночь прожил тридцать лет и понял, что слова могут убивать. Сначала они заучиваются мозгом, а потом мозг начинает вам диктовать и заставляет жить в согласии с этими словами. Все мы дышим одним воздухом, и не так уж трудно убедить человека, что с каждым твоим вздохом кто-то на другом конце планеты умирает от удушья. Я ведь тоже писал письма жене. Руки остались те же, — он поднял руки к собственным глазам и растопырил пальцы. И я с неприятным испугом понял, что у него молодые и сильные руки, испачканные чернилами, какие-то исколотые, но сильные и молодые, явно от другого тела, не принадлежащие этой голове, этому лицу.

С ним вдруг началась истерика. По лицу прошли странные судороги, глаза вылезли из орбит, кожа на лице как будто набухла, раздулась, как будто пыталась отделиться от черепа, и все лицо заходило вверх и вниз, а потом голова упала на стол. Я в панике оглянулся. Хозяин как ни в чем не бывало стоял у прилавка с распахнутым окном и, насвистывая, высматривал прохожих и отблески солнца на крышах. Я крикнул ему, он подбежал, и мы вместе приподняли старика за плечи. Лицо у него наконец разгладилось, он приоткрыл глаза:

— Коньяку, — проговорили губы.

Хозяин повернулся к стойке и быстро вернулся, поставив две порции коньяка в стаканах. Потом посмотрел на меня вопросительно, но я повернулся к старику. Тот — я уже не знал, как его называть: старик ли он вообще? — провел сонным движением руки по лицу, потом отнял руку и снова склонился ко мне:

— Я от нее потребую объяснений. Мы вместе от нее потребуем объяснений. Лучше бы я ее не встречал. Но мы должны ее дожидаться. Она должна прийти, она не может не прийти сюда, слишком уж мы похожи.

— Каких объяснений, от кого? — мне казалось, что он еще не оправился от обморока.

— Я же вам хочу все рассказать, пока она не пришла,

а вы меня перебиваете постоянно. Мне трудно разговаривать с человеком, когда мой вид в его глазах вызывает у меня ответное раздражение. Мне и так трудно с вами разговаривать, я же в вас вижу свою собственную копию, мы с вами ужасно похожи.

Я передернулся. Он глотнул коньяку, глаза его на миг оживились:

— Еще раз вам говорю: постарайтесь не писать писем. Это вредно. Слова не оправдание. Слова ничего не меняют в прошлом. И по почте можно получать только такие слова, от которых не кружится голова. Все только во вред: слова начинают повторяться, и жизнь начинает следовать однажды сказанному, и сказанному, как всегда, опрометчиво. Сколько вы здесь? У вас ведь пока еще чувство трагической разлуки с прошлым? Чувство высокой разлуки с тем, что не произошло, но могло бы быть, но никогда не произойдет? Чувство того, что вас предали все, кто увиливающее спокойствие предпочитает обреченной ясности? Не надо писать писем. Человек ищет оправданий собственной отделенности, которую другой будет всегда воспринимать как предательство. А потом он начинает верить в то, что те, кого он оставил, его предали. Лучше пишите письма солнечной системе — это она во всем виновата. И держитесь подальше от старух утешительниц, — снова завел он свою волынку, и я раздраженно уткнулся в свой стакан. Но он не обратил внимания на этот нетерпеливый жест. Он или опьянел, или слишком устал, но, скорее всего, впал в то стариковское состояние разговора с самим собой, когда созерцают собеседника на собственной глазной оболочке, а сам собеседник нужен только для отражения в собственных глазах своего прошлого:

— Я всегда испытывал нездоровое любопытство к чужой судьбе и почти наплевательское безразличие к своей собственной, — он говорил уже другим, успокоившимся голосом, который трудно было не слушать, настолько тихо и провидчески он звучал. — Может быть, поэтому я испытывал такую тягу к людям, старше меня

по возрасту. Чужая жизнь со стороны всегда кажется чем-то цельным и совершенным, и моя бесхребетность, и постоянный хаос в голове все время толкали меня примеривать чужие поступки на себя, приглядываться к чужой судьбе как к шкуре, которую мне в будущем предстоит на себя натянуть. И, в очередной раз разочаровавшись, я снова оставался наедине с собственной бесформенностью, снова с желанием избавиться от самого себя, лишеного всякой последовательности и линии, и это желание снова толкало меня внимательно следить, прислушиваться, приглядываться и подражать еще одной чужой сложившейся жизни. Из-за этого непрерывного желания перемены собственной судьбы, чтобы в этих переменах разглядеть ее, поймать в ловушку, желания вылезти из собственной шкуры, чтобы убедиться в ее существовании, поглядеть на себя со стороны — может быть, из-за этого я и уехал. Одним этим, наверное, объяснялась и моя тяга к пожилым женщинам, к женщинам старше меня, которые знают, что, куда, когда и где и в руках которых ты начинаешь сознавать, что это ты — ты, а не кто-то, кем ты мог бы быть, но никогда не будешь. Почти все мальчики грезят по ночам и наяву о такой женщине, но у меня это продолжалось до последнего дня, до того дня, когда я встретил эту старуху. Встретил здесь, на этом месте, здесь, где мы с вами сейчас сидим. Как будто я всю жизнь только и провел ради этой встречи. Я вел жизнь на самом деле профессионального бездельника, каким можно быть в Москве. Работу я находил себе всегда со стариками и с чем-то связанным с ними. Я работал чтецом у слепых профессоров, мне нравилось читать кому-то вслух, кто меня не видит, как будто я диктовал мысли на расстоянии. Работал сиделкой у одиноких старух и в их повторяющихся историях представлял себе самого себя на их месте. Я, естественно, всегда что-то пописывал, вроде дневника, и один мой знакомый, для которого я был "пишущим", предложил мне написать мемуары об одной умершей недавно актрисе. То есть не написать, конечно,

а записать, со слов ее мужа, врача, который ее безумно любил, и всю жизнь содержал, и ухаживал за ней, потому что полжизни, до своей скоропостижной смерти, она была сумасшедшей. Теперь он искал человека, который бы по его словам и оставшимся мемуарным материалам написал бы о ней статью. Меня не столько привлекало писание статьи, сколько сами обстоятельства их жизни вдвоем. Я стал ходить к нему. Это был высокий, еще сильный старик, почти помешавшийся на ее смерти, но продолжавший служить заведующим отделением в районной поликлинике и, несмотря на свой возраст, не уходивший на пенсию, хотя сбережения у него были: видимо, реальность этой службы спасала его от реальности ее смерти. В жизни он ничего не понимал с упорной наивностью человека старой закалки, боготворил свою жену и ходил за ней как за ребенком. Она же, судя по всему, была взбалмошной женщиной, с пикантной внешностью травести, разъезжала с гастрольями по провинциям. Но заработок этот был нетвердый, она часто болела, и ему с утра до вечера приходилось бегать из одной больницы в другую, от одного пациента к другому, пока она почти на глазах у него изменяла ему с великими людьми своего времени.

"Зачем вы мне рассказываете чужие сплетни?" — хотел спросить я, но понял, что, даже если он услышит мой резкий вопрос, он уже не способен остановиться. Он уже не слушал. Он пригубил коньяк.

— Может быть, муж об этом и догадывался, но считал это, судя по его характеру, законным правом великой актрисы. Но где-то кончались границы его простодушия потому что самую главную для меня переписку он не показывал. Я приходил к нему днем, когда он возвращался из больницы и с тщательностью человека старых правил сам расставлял на столе приготовленные со вчера тарелки с едой и откупоривал бутылку грузинского вина. Накладывал он всегда полную тарелку, наливал бокал сухого вина, проливая на скатерть, и приглашал жестом к столу, таким жестом, что отказаться значило

оскорбить. Он сидел рядом и глядел, как я ем. Он как будто откармливал меня на убой. Он все подкладывал и подкладывал, пока от этой еды и вина меня не начало клонить в сон. Тогда он говорил: "Ну что ж, теперь поработаем?" Квартира у него была огромная, в старом московском доме, но совершенно пустая, пустая даже не отсутствием предметов, но опустошенностью. Все комнаты были завалены пачками старых газет. Газеты были большей частью провинциальные, с рецензиями на ее многочисленные гастролы. Пачки газет громоздились кучами, грудями, затемняли окна, пожелтевшие и пропыленные. К столу надо было каждый раз пробираться через пачки газет, через папки, стопки альбомов с фотографиями. Он сдвигал еду и тарелки, и мы садились за стол друг против друга. Мне выдавалась пачка газет за очередной год гастролей, а он, вооружившись клеем и ножницами, открывал очередную страницу самодельного альбома: он клеивал туда в хронологическом порядке фотографии и копии рецензий. Рецензии он переписывал от руки. Даже те, которые имелись в десятках экземпляров. "Когда она болела, — говорил он мне в сотый раз, и в сотый раз слезы начинали накапливаться у него в глазах, — когда она заболела, а мне приходилось уходить на работу, она оставалась одна, бедная, и вот я возвращаюсь с работы, а она из альбома рецензии вырывает, те, которые отрицательно освещали ее неповторимую игру, она ведь, знаете, была неповторимой, неповторимой". По ночам он запирался у себя в комнате и, достав ее письма, которые он от меня упорно скрывал, переписывал их от руки. И не в первый раз переписывал. Когда пачка кончалась, он начинал переписывать их заново, оправдывая это тем, что вышло некрасиво: у него были крупные старческие каракули, и прочесть написанное им было практически невозможно. Эти переписанные неразборчивым старческим почерком письма, может быть, в них все дело. С начала и до конца они были единственным материалом, без которого статью написать невозможно, но именно их он мне не показывал.

Он сидел прямо передо мной и следил, чтобы я не пропустил ни строчки из однообразно восторженных провинциальных рецензий. С какого-то момента рецензии начали повторяться, но он все оттягивал время и не давал мне читать переписку. Иногда он подкладывал уже читанную рецензию, но, отчеркнув там красным карандашом самые жестокие комплименты, заставлял меня читать их вслух. Я уже изучил все документы, все свидетельства о наградах, партийных и правительственных, все приказы об увольнении, когда она не могла ужиться в коллективе; она, видимо, с какого-то момента сдалась и забыла свои прежние амбиции протаскать на советскую сцену французский водевиль, стала работать с армейскими ансамблями и создавать театр профсоюзов. Потом случилась с ней загадочная история, скверный анекдот, когда ее вызывали и спрашивали, а она отказывалась, неясно по какому делу, неясно когда, и только однажды, когда я решил спросить его, что же там, в конце концов, произошло, он пожевал губами, а потом сказал: "Когда она, бедная, окончательно заболела, стала постоянно ходить с поднятыми вверх руками, а когда спрашивал ее, говорила, что поддерживает генеральную линию партии". Рассказывая это, он даже не улыбнулся криво, он был настолько невинен в политике, не понимая, что вокруг него происходило, что не видел в этой истории ничего ужасающе издевательского. Он постоянно возвращался к истории, как она вырывала плохие рецензии из альбома, повторяя ее, может быть, для того, чтобы оправдаться передо мной. "А однажды я возвращаюсь с работы, а она, бедная, стоит, представляете, на лестнице в одной ночной рубашке, холод был, морозы, а она в одной рубашке стоит, а меня увидела, побежала ко мне, плачет и кричит: я, говорит, думала, тебя убили". Он снова и снова повторял одни и те же истории и тщательно следил, чтобы я не пропустил ни одной рецензии, которую он выдал. При этом у него было чутье определять, что я читаю на газетном развороте, потому

что, когда я скашивал глаза на отдел происшествий, которые произошли, когда я еще не родился, и где работник ЧК, проезжая по улице нашего города на мотоцикле, был убит, когда огурец, выброшенный из окна домохозяйкой из дома номер такой-то, попал в его случайно открытый рот, и это не к тому, что рта нельзя раскрыть, а что пора соблюдать чистоту в нашем городе; когда я скашивал глаза на страницу таких происшествий, он всегда замечал это и просил обратить внимание на "неповторимое дарование" давно читанной рецензии. Иногда, за чаем, он спрашивал, заглядывая в глаза: "Ну как продвигается статья?" Но мне с некоторого момента стало ясно, что я для него теперь единственный на свете собеседник и он просто-напросто хочет поддержать меня у себя как можно дольше, и я с ужасом оглядывал неумещающуюся гору газет в комнатах. Не прекращалось и переписывание им писем, над которыми он плакал. Поворот в наших отношениях наступил тогда, когда я увидел в одном из альбомов фотографию, которую раньше не встречал, и эта ее фотография поразила меня неприятным сходством.

Старик, на которого я теперь смотрел как завороченный, порывлся своими быстрыми молодыми руками в кармане пиджака и достал две фотографии. На одной, наклеенной на твердый дореволюционный картон, была конечно же актриса: женщина лет сорока, с лицом натянутой игривости, она стояла, окутанная шлейфом, в балетной позе, с поднятой вытянутой ногой. На другой, уже успевшей, как обычно, скрутиться в трубку, лежала на кушетке женщина, заложив локоть под голову, и улыбалась странной улыбкой: то есть не улыбка была странной, но сочетание глаз и улыбки, потому что глаза были заплаканные и улыбка выходила гримасой. Но дело не в этом. Дело не в этом. Дело в неприятно поразившем сходстве. Меня прошиб холодный пот.

— Это моя жена. Похожи ведь? — спросил старик и заглянул мне в глаза. — Эту фотографию я у него украл. Сначала хотел спросить у него, а потом понял, что вопрос

беспольный: фотография ведь дореволюционная. Как можно сравнивать: когда она фотографировалась, моя жена еще не умела ходить, — сказал он, так ничего и не объяснив, и я принял это объяснение, потому что мне стало страшно: бывают такие фотографии, которые похожи на всех одновременно. Почему бы и не на твою жену? Слишком много совпадений и намеков. Кто подослал мне этого старого алкоголика? Или сыщика? Или провокатора? Я залпом проглотил еще одну порцию коньяку. Дверь хлопала, заведение наполнялось людьми, и старик каждый раз нервно вздрагивал и оглядывался выжидающе.

— Чего вы на меня так смотрите? Если бы я сам мог объяснить. Но с этого сходства все и началось. Я стал по-другому относиться к своей жене. Я бессознательно стал подозревать ее в сумасшествии. Слишком спокойно она относилась ко всему кошмару, творящемуся вокруг. Она страдала болезнью какого-то упорного сознательного безразличия. Она была согласна высиживать часами в атмосфере душного собрания с механическим подниманием руки. У нее отсутствовало чувство страха, страха перед каждым стуком в дверь и перед урчанием мотора за окном. Ей было наплевать, что обо мне говорят, когда меня нет поблизости. Ей было наплевать, что все мы соучастники. Она не хотела вылезти из собственной шкуры. Я больше не мог ходить к этому вдовцу, к этим газетам, к этим письмам. Мне стало казаться, что я превращаюсь в него, а моя жена — становится этой сумасшедшей актрисой, ходящей с поднятыми руками, чтобы не уронить генеральную линию. Вся страна стала представляться мне этой его комнатой, где некто старший сидит прямо напротив тебя и следит, чтобы ты снова и снова перечитывал одну и ту же идиотскую газету с приторными комплиментами тому, к кому ты не имеешь никакого отношения. Когда я пытался объяснить все это жене, ее лицо чернело и замыкалось, она говорила, что сейчас в ее положении об отъезде не может быть и речи, и эти наши повторяющиеся разговоры тоже

стали походить на бред. Все кончилось, когда вдвоем мы были приглашены на памятный ужин в годовщину смерти актрисы. Стол ломился от еды, рядом со вдовцом сидели два-три торжественно молчавших родственника с затянутыми галстуками и с поджарыми супругами, а почти весь стол оккупировали сотрудники вдовца по поликлинике и больницам, где он работал: разухабистые прожженные бабы-врачихи и крикливые старшие сестры. Они хлестали водку бокалами и хрустели за обе щеки. Одна из них, накладывая мне рыбу под речь вдовца "о незабвенной жене и неповторимого таланта работнике искусства", прерывавшуюся старческим кашлем от слез, бубнила мне в ухо, наваливаясь плечом: "Ешь, дурак, рецензент, ешь форель, когда тебе еще случай представится". Рыба была вовсе не форель, а какая-то с запашком речная рыбешка, тоже деликатес по нашим временам, но с уймой костей, и я, уже пьяный, кашлял, подавившись костью, стараясь в то же время соорудить внимательный и скорбный взгляд, пока плотная баба-медсестра слева от меня нашептывала мне в ухо: "а он-та, тюфяк, всю жисть с ней маялся, а я ить все аборты ее наизусть знаю и все такие знаменитые красивые мужчины" и жала мне колено горячей рукой. Я обвел взглядом стол и вдруг заметил, что вдовец, произносящий памятную речь, обращается к моей жене, и как бы ей все это говорит со слезами на глазах, и, рыдая, наклоняется к ней и она, тоже под мухой, отвечает ему, протянув руку, и тут я снова вспомнил об этом сходстве на двух фотографиях. Я встал, опрокинув стул, и, покачнувшись, прошел через весь стол, взял свою жену за руку и стал продвигаться к выходу. У двери мы стали прощаться. Хозяин дома, склонившись по-стариковски к ручке моей жены, говорил мне: "Ну что ж, до завтра, продолжим наши труды?" Назавтра я не пришел. И напослезавтра тоже не пришел. А через неделю я подал документы на отъезд. Разрешение мне дали нереально быстро, все происходило с загадочной быстротой. До последнего дня жена вела себя так, как

будто собирала меня в командировку. Она штопала носки, гладила рубашки, стирала простыни. Как ей сказали, простыни здесь очень дорогие, и она сказала, что я должен иметь хотя бы одну смену белья на крайний случай. Друзей у меня не осталось, в доме стояла звенящая тишина. Она ходила от чемодана к стенному шкафу, иногда задавая вопросы, сверяясь со списком вещей. Когда она спросила, не забыл ли я купить зубную щетку, потому что старая совершенно стерлась, меня настолько поразила граничащая с безумием стандартность этого вопроса, что я раскрыл рот, чтобы крикнуть, но встретился с ее холодным взглядом и замолчал. Наконец наступила ночь, когда мы остались совершенно одни, и это была последняя ночь перед отъездом. Она лежала на спине, закрыв глаза. Я тоже лежал на спине, закрыв глаза, стараясь заснуть, потому что самолет вылетал в пять утра, а значит, на аэродроме надо быть не позже четырех утра — значит, когда надо проснуться? Я старался сосредоточиться на мысли о просыпании, чтобы не думать о том, что моя голова больше никогда не коснется этой подушки. Потом я почувствовал, что жена перевернулась на бок и, скосив глаза, увидел, что она лежит, уткнувшись лицом в подушку. Потом я услышал, что она начала плакать. Потом плач перешел в тихий вой, в сдавленное рыдание, от которого начало звенеть в ушах. И в первый раз за нашу с ней печальную жизнь я знал, что мне нечего сказать ей в утешение. Я больше не мог ни утешать, ни плакать. Не осталось сил ни на то, чтобы переубеждать, ни на то, чтобы угораздить: все слова были уже сказаны. "Перестань плакать", — сказал я и отвернулся к стене. "Не перестану", — сказала она, как маленький ребенок, как непослушный ребенок, и снова зарылась, рыдая, в подушку. "Я буду плакать, пока не умру, — бормотала она, — чтобы ты понял, чтобы до тебя дошло, что ты своим отъездом довел меня до смерти". Вот уже год она ничего не желала слушать об отъезде. Просто отмалчивалась. И говорила, что я просто решил ее бросить. Потом она стала объ-

яснять свое нежелание ехать со мной тем, что ей предстояла операция на сердце и она должна ждать очереди в больницу. Я говорил, что это уловка, потому что операцию лучше сделают за границей. Но она говорила, что я просто не хочу ни с чем считаться, если что-то про себя решил, и готов спокойно переступить через труп близкого человека. Она говорила, что она не может ехать сейчас, а я не хочу ждать, а на самом деле решил ее бросить; что с ее больным сердцем она вообще не может ехать в этот климат. Я ей говорил, что климат — это очередная уловка, что год назад у нее была другая причина, а через год будет еще одна, а на самом деле она боится остаться со мной в чужой стране, зная, что в эту обратно никто не впустит; и этот ее страх есть недоверие ко мне и предательство, и это она меня бросает. "Значит, ты спокойно относишься к тому, что я здесь погибну, продолжая вот так вот читать эти груды газет про мертвую под надзором ее бывшего мужа; ты на нее похожа, вот и оставайся с этим стариком, вы с ним споетесь: он будет оплакивать ее, а ты меня". С этого разговора мы почти перестали обращаться друг к другу. До этой последней ночи. Когда она лежала и ревела, уткнувшись в подушку, все эти взаимные упреки в неверности вертелись безостановочно в моей голове и сливались в один раздражающий звон в висках, от которого не оставалось ни капли сожаления, а, наоборот, чувство странной злости и щедрости самоубийцы. "Ты хочешь, чтобы я отказался от визы?" — спросил я, почти уверенный в ответе. Она вывернула лицо ко мне, приподнявшись с подушки, и я увидел покрасневшие, выжатые, до последней капли выплаканые глаза. Лицо у нее было перекошено гримасой: "Бросают всех или сумасшедшие или садисты. Я тебя проклинаю, — сказала она почти шепотом, — я хочу, чтобы ты там умер, чтобы ты остался там один, чтобы ты сначала сходил с ума от одиночества, чтобы у тебя не осталось ни одного близкого человека в жизни, а потом чтобы ты умер, чтобы погиб, чтобы сгинул". И снова упала лицом в подушку.

Я лежал, не повернув головы, лицом в потолок. Потолок стал казаться мне серым небом, которое нависает и вот сейчас обрушится. Я испуганно отвернулся к стене и в плаче без слез кусал губы. Я лежал и смотрел в стену и скоро перестал понимать, лежу ли я в комнате и смотрю в стену или это мне снится, что я лежу и смотрю в стену. Потом зазвенел будильник, но я в этом полусне уже столько раз слышал, как я слышу, как зазвенел будильник, что, когда он зазвенел, я не знал: кажется ли мне, что он зазвенел или он зазвенел действительно. За окном было все так же темно, но нечто указывало на то, что скоро будет светать. Я поднялся и поглядел на будильник и понял, что надо вставать. Жена или спала, или делала вид, что ничего не слышит. Я долго умывался, пытаюсь смыть бессонную ночь, отмыться от всего того, что было сказано; потом долго рассматривал свое опухшее лицо с мешками под глазами, которое по-стариковски обвисло, и я подумал, что вот таким я буду через тридцать лет. Потом прошел в кухню и зажег свет. Вы знаете, как это отвратительно зажигать свет зимним утром, когда на улице темно, а ты знаешь, что уже надо начинать жить, просыпаться, уезжать. Я долго молот кофе в электрической мельнице, тайно надеясь, что от громкого жужжания жена проснется и что-то выяснится. Потом стал варить себе кофе в старой турочке с отломанной ручкой и, когда я снимал ее с газа, обернув полотенцем, все-таки прижег палец и преувеличенно громко вскрикнул. Но она продолжала делать вид, что не слышит. Потом я стал пить кофе, поглядывая на все те мелкие бытовые подробности, которых я никогда больше не увижу. Я глядел на тапочек, подоткнутый под дверь, чтобы она не хлопала от ветра. На старую бесполезную деревянную кофемолку. На трещину под потолком. На набор половников и ложек, висевший над плитой, которым никто не пользовался с того момента, как он был подарен на новоселье. Я продолжал делать вид, что ничего не произошло, что я просто проснулся слишком рано и еду в командировку, и я смотрел на небо, кото-

рое из черного становилось серым, как потолок ночью в комнате, и на этом небе стала вырисовываться телевизионная башня, как ночная тень на потолке. Потом я взглянул на часы и поднялся. Надел зимнее пальто, проверил, есть ли перчатки в карманах, и взялся за чемодан. Нельзя же так. Нельзя же так, не сказав даже до свиданья, подумал я и поставил чемодан. Потом прошел тихонько из коридора в комнату и зажег свет, забыв, что уже достаточно светло, и все стало в этом неприятном освещении, когда свет бессмыслен и подавляет, придавая всему медную тусклость. Она лежала, головой уткнувшись в подушку так, что из-под одеяла торчала одна макушка. Я присел в пальто на край постели и тихонько позвал ее. Под одеялом угадывались ее плечи, ее спина, ее бедра, и они, наверное, согреты сном и такие привычные, а на улице холодное до вздрога зимнее утро. "Может, ты хоть до свиданья мне скажешь? — неуверенно спросил я и положил руку на одеяло. — Ну?" — позвал я ее еще раз и легонько потряс за плечи. Потом нагнулся и поцеловал ее, то есть даже не поцеловал, а дотронулся губами до шеи за ухом, отведя прядь ее волос. Меня поразила холодность кожи, даже не столько холодность, сколько то, что она не была привычно согретою сном. Я потряс ее за плечи, но она не шевельнулась. Я содрогнулся. Я стал трясти ее. Потом обеими руками, все еще продолжая удивленно злиться, заставил ее тело перевернуться лицом. Оно было тяжелым. Голова ее откинулась на подушку, и на меня глядели неподвижные выплаканные глаза. Я отбросил одеяло и рванул ночную рубашку на ее груди, нагнулся, прижался ухом. Но я не поверил. Я взял ее руку у запястья и долго щупал пульс, но я не был уверен, там ли надо щупать пульс, а если не у запястья, то где? Я прошел в ванную и, взглянув на свое побелевшее лицо, еще раз умылся. Потом вернулся в комнату. Потом вспомнил про еще один способ: я зажег спичку и поднес ее к открытым неподвижным глазам, стараясь не дышать. Зрачки не шевельнулись. Ничего не шевель-

нулось. Теперь, уже со страхом дотронувшись до ее лица ладонью, я отдернул руку: лицо было влажным и холодным. Когда это случилось? Ночью? Она даже не вскрикнула. Или вскрикнула, и мне в очередной раз приснился звон будильника. Или ничего не приснилось. Я проспал ее смерть. Я проспал с мертвой в кровати и ничего не почувствовал. Я двинулся к телефону, но потом остановился в нерешительности. Собственно, я же этого хотел. Она же сказала: буду плакать, пока не умру. Я же этого хотел, я же ни слова не возразил. Если не в прямом смысле ее смерти, то, во всяком случае, чтобы она исчезла. Чтобы я наконец остался один. Во всем этом было то состояние окончательности, которого я в тайне добивался. И чувство спокойного безразличия. Никуда не надо звонить. Здесь прекрасно обойдутся без меня. Как и раньше прекрасно без меня обходились. Я с ужасом представил себе, чтобы было, если бы я поднял трубку телефона: врачебная экспертиза, родственники, слоняющиеся по квартире, похороны с препираниями в крематории, очереди, бумажки, еще бумажки, снова родственники, пьяные поминки, да я бы никогда от этого не уехал бы. Потом пошли бы годовщины. Я вспомнил фигуру старика с пьяными глазами и кашлем за поминальным тостом. Я так и не выполнил обещания написать про его жену. Какое-то сопоставление, промелькнувшее и продолжавшее беспокоить, мешало сосредоточиться. Я медленно взялся за ручку чемодана, застегнулся на все пуговицы и вышел, захлопнув за собой дверь. Я уже нажал кнопку лифта, когда еще раз передумал, вернулся к двери, открыл ее ключом. В последний раз открыл дверь ключом и, положив ключ перед дверью, оставил ее открытой. Лифт не работал, и я стал медленно спускаться по лестнице. На улице была морозная утренняя сырость. Иерусалим встретил меня голубым, холодным, прозрачным небом, как будто другого неба никогда не было. На меня иерусалимский свет сразу подействовал. Вы заметили, что здесь или очень светло, пронизывающе светло, или вдруг темне-

тьмущая? Так светло, как будто просвечивают рентгеновскими лучами, и кажется, что через кожу человека можно разглядеть его скелет. А когда темнеет, становится так темно, что можно подумать: этого города нет вообще, только ветер гуляет по холмам. Может быть, потому что все окна закрывают жалюзи и не видно освещенного окна того дома, где друзья тебя ждут не больным, не отпетым.

Старик потянулся рукой к моему стакану, и я отлил ему коньяку. Он, как видно, ждал, как я буду реагировать на сказанное, а я сидел, глядя перед собой невидящими глазами. Вокруг все было окутано синеватым светом сумерек, путавшимся с сигаретным дымом: заведение было уже полным-полно, и хозяин с мальчиком бегали от столика к столику, а вокруг галдели гортанные голоса рабочих соседних гаражей, водителей в кожаных куртках, и все с черными глазами, черными волосами, темными руками и лицами. Я не знал, что под вечер здесь такой галдеж. И то ли потому, что я сам уже был несколько нетрезв, то ли на меня так действовал рассказ, но мне казалось, что мы сидим здесь белыми воронами, и что они то и дело переглядываются и незаметно тыкают в нас пальцами. Это было такое состояние, когда каждая окружающая деталь кажется многозначительной и все принимаешь на свой счет. За спиной чей-то голос вот уже в четвертый раз втолковывал своему собеседнику какое-то дорожное происшествие: "И он на полной скорости въехал на своем грузовике в витрину. И сломал себе ногу. А манекены все до одного перебил. А себе только ногу сломал. Когда въехал на грузовике в витрину".

— По вашим глазам вижу, что вам неинтересно то, что я вам рассказываю, но я должен дорассказать, иначе я не могу вас предупредить, а вам неинтересно, — сказал старик, глотнув коньяку, и, морщась, прижал ладонь к губам.

— Нет, вы уж рассказывайте до конца. Я должен

знать, что произошло с моей женой, — неожиданно для себя самого выпалил я.

— С вашей женой? Нет, простите, с моей женой: кто вам сказал, что с вашей? А впрочем, я же сказал: здесь все повторяется. Может, вы зря меня слушаете: слова, они действуют. Я здесь перестал вслушиваться почти сразу после приезда. Конечно, вначале у меня было чувство освобождения. Я не знал ни слова на здешнем языке, у меня было вначале ощущение, что вокруг меня бурлит неизвестная, пестрая, с большими ожиданиями жизнь. Но сколько я ни старался, я не мог всунуть ни одного нового слова в свой бедный мозг, который с новой силой стал крутиться вокруг прежних слов. Поэтому все мои разговоры шли с теми несколькими знакомыми, которых я знал по Москве. И потом, после многочисленных посещений здешних домов, я вдруг понял, что если здесь всем наплевать на различие свиньи и апельсина, то какая разница, кто на каком языке говорит, — что, впрочем, и происходило. Потом пестрота улеглась и выяснилось, что у меня нет других собеседников, кроме этих прежних московских полужнакомых. Я понял, что ничто не изменилось. Но они изменились действительно. Они изменились в том смысле, что каждый из них пытался доказать другим, что он изменился, этим изменением как бы пытаясь доказать и почувствовать географическую перемену места жительства. Они были как бы перебежчиками, я же был беглец. Все они были переехавшими, я же был уехавший. Я бежал, чтобы сохранить себя от разрушения; они переезжали, в надежде стать новыми людьми. Вопрос о состоятельности этой надежды и был запрещенной темой. Всякая нотка сомнения в оправданности такой надежды вызывала тайный приступ ярости: ведь назад дороги не было, а им нужно было сравнивать. "Здесь я могу спокойно жарить яичницу с мацой, никого не стесняясь, и в этом мое преимущество", — говорил один. "И это преимущество состоит в том, что, пожарив эту яичницу, ты можешь вынуть из нее эту отвратительную мацу", —

отвечал ему в пику другой. Но и тот, и другой состояли в тайной от самих себя организации людей, живущих убеждением, что то место, куда они приехали, — самое лучшее место на земле: не потому, что нет на свете другого места, а потому, что они сюда приехали. Не это место на земле их избрало, но что они избрали это место, и поэтому все, что они здесь делают, должно считаться идеальнейшим из существующего. Недостатки для них были "отдельными недостатками", вечная невозможность слиться с тем местом, в котором ты не родился, называлась "трудностями переходного периода", так что вся жизнь становилась сплошным переходным периодом и войной с печальным настоящим во имя счастливого будущего. Для этого надо постоянно презирать свое собственное прошлое как никчемную проволочку перед будущим, лишая конкретную неповторимость каждой отдельной жизни всякой ценности в сравнении со счастьем будущих поколений, существующих только на бумаге газетных некрологов. Но, презирая изо всех сил собственное прошлое, они находились в беспрестанной судороге бешенства по отношению к тем, кто не хотел быть соучастником их мыльной пленки настоящего, предназначенной смыть родимые пятна времен расщепления. Они не хотели признать, что все мы — потерянное поколение, родившееся с мыслью об отъезде. Человек, однажды подумавший об отъезде, — конченный для здешней жизни человек. Он — выпавший. И для нас отъезд — это то, отчего уклониться было невозможно. А продолжаться — бесполезно. Они не хотели считать себя эмигрантами. Они упорно старались сделать вид, что они родственники, но в результате отсутствия какой-либо устойчивости они подозревали друг друга в отсутствии родственных чувств и ходили друг к другу, выясняя, почувствовал ли их родственник, что он в родной семье или еще нет, и в таком случае за ним нужно тщательно присматривать и дать ему почувствовать. У каждого на этот случай была своя маска этой убежденности, но сам он все больше и больше превращался в

набитое тряпками чучело. Вначале я этого не понимал и продолжал обращаться к каждому из них так, как обращался к нему там; но с какого-то момента стал наткаться на невидимые колючки и непонятные несоответствия. Мне, казалось, все время давали понять, что я обращаюсь не по адресу. Пока я не понял, что я обращаюсь к человеку, которого знал раньше, а отвечает мне не он, а та маска, которую он нацепил на свое лицо. Но лицо все-таки то и дело проглядывало сквозь маску, и это вводило в заблуждение. И я снова делал нелепую попытку продолжения старого разговора и снова наткнулся на вежливую обидчивость: мне маска на лице снова намекала на то, что я презрительно не замечаю обновленной личности. Я здесь нахожусь немногим больше вас, но я успел заметить, как на лице у человека вырастает этот новый слой кожи и только глаза продолжают просвечивать те же. Но потом и они зарастают и от человека остается чучельная вывеска. И тебе суют под нос эту вывеску и дают понять, что даже недостатки ты должен принимать как достоинства, потому что это необычные, это особые недостатки. Я слонялся из одной квартиры в другую, а в своей комнате в общежитии для новоприбывших только ночевал; или, наоборот, ночевал у знакомых, а целый день торчал в общежитии. И так как из этого общежития все время съезжают, а на их место приезжают новые, то оно похоже на вокзал, и я так ни разу и не почувствовал себя приехавшим. Эта жизнь напоминала хождение по вагону дальнего следования в неизвестном направлении. И даже те, кто жил на постоянных квартирах, чувствовали себя не дома, а как бы в отдельном купе, и вот сейчас надо будет сходиться, после того как проедем этот черный туннель. Но неизвестно было, свет впереди — это выход из туннеля или огни встречного поезда? Ссоры в этом купейном вагоне по этому вопросу возрастали, напряжение росло, и я в конце концов перестал появляться у последних своих знакомых. "Родиться надо там, где собираешься умереть", — сказано было кем-то в одном из последних

разговоров, которые я помнил. "А значит, жить надо там, где уже умер", — сострил кто-то в ответ. В ту ночь, зарывшись с головой под казенное госпитальное одеяло и пытаясь в гигантской пустоте, в огромном неуютно бессонницы найти потайной ход в дремоту, я вдруг вспомнил о своей жене. Я сдернул с головы одеяло, перевернулся на спину и снова увидел серый, как небо, потолок. А в темноте за окном через все небо проходил острый белый полукруглый шрам, как застывшая молния. Я присел в постели, и шрам передвинулся на черном небосводе. В отчаянии понять, что происходит, я стал поворачиваться всем телом, и шрам на небе передвигался вслед за моими движениями, деля небо пополам, куда бы я ни повернулся. В безнадежности перед этим космическим ужасом я снова упал на постель и прислушался. Жесткая белая подрагивающая полоса, покачнувшись, установилась прямо перед моими глазами. И никто, кроме меня, этого не видел, только собака кричала по-человечески, надрываясь, почти плача, оттого что никто не хочет обратить внимание на то, что только ей одной известно, на ту опасность, которую только одна она заметила в темноте. Я вспомнил, что до сих пор не получил извещения о смерти жены. Тот факт, что в Москве никому не известен мой здешний адрес, ничего не значил: я был уверен, что такие извещения рассылаются по международным организациям, и так или иначе, через здешние учреждения, мне должно было быть сообщено о смерти жены, ведь мы же не развелись. А может быть, оно и было послано, но вы же знаете, как в наши дни работает почта. Может быть, я его даже получил, но бессмысленных бумажек присылалось каждому новоприбывшему столько, и все они были написаны на здешнем непонятном мне языке, что я, возможно, выкинул его, как все эти конверты с железными скрепками вместо клея. Тоже сомнительно. Короче говоря, я этого извещения не получил. Я потянулся за сигаретой и увидел в углу окна фонарь. То, что я принимал за рассекавший небосвод шрам, было полоской

отраженного створками жалюзи фонарного света. Я передвигал голову, и отраженная полоска света тоже передвигалась. Эта разрешенная загадка на секунду принесла спокойствие, и я успел задремать. С этой ночи я стал ждать от нее письма. Вставал я поздно, каждый раз уклоняясь от наглых улыбок и стальных глаз людей, которые спрашивают у меня советский паспорт, потому что я незаконно пробрался в Москву, и вот я снова прежний, и ничем от себя прежнего не отличаюсь, пока не вспоминаю, что я же иностранный подданный и меня куда не пустят, даже близкие куда не могут пустить, и слух доходит до милиции и начинаются наглые улыбки и разоблачающие стальные взгляды. Вставал я поздно, потом, полупроснувшись, долго ходил по комнате, пытаюсь вспомнить, что и почему мне снилось, и снова понять, где я нахожусь. Потом долго рылся в стенном шкафу, пытаюсь отыскать остатки чая, но их уже давно не было ни в одной из коробок, я шел вниз и, скрывая от самого себя собственное любопытство, убеждался, что моя почтовая ячейка пуста. Но это временно, говорил я себе, надо дождаться завтрашнего дня. Я пил кофе в соседней забегаловке, снова возвращался в комнату. Солнце закатывалось быстро, я снова ложился спать, снова во сне возвращался к тому, к чему возвратиться нельзя. То ли в этом полусне, то ли в этой полуяви я стал сочинять письма. Точнее одно-единственное письмо, которое я постоянно переписывал: письмо ей. Их было бесконечно много, вариантов этого одного письма, и все они крутились вокруг одних и тех же слов: что моя жизнь — сплошное ожидание на вокзале, что я жду ее письма, как ждут поезда и, пока он не придет, ничего невозможно делать, а только дремать и дожидаться, и что, пока она мне не объяснит, почему она не едет, я не могу начать жить. Я снова и снова восстанавливал в памяти все детали нашей московской квартиры, и перед глазами стояла наша кровать со смятыми простынями, и она лежит, уткнувшись в подушку, положив руку под щеку. Мне нужно было, чтобы она подняла

голову и улыбнулась. Я снова и снова вынимал ту единственную вещь, которая осталась у меня от нее: носовой платок. Этот носовой платок я вынул из ее разжатых пальцев, когда она лежала, неподвижно и отвернув голову в подушку. Она, видимо, целую ночь вытирала им слезы и сморкалась. Этот платок я стал носить с собой повсюду. Я с ним не расставался ни на секунду. Когда я ложился спать, я клал его под подушку. Если бы я сейчас начал заниматься саморазоблачениями, я бы вам рассказал, что я с этим платком делал, когда оставался один ночью под одеялом, представляя себе, как я стягиваю с нее одеяло и задираю ночную рубашку. Через какое-то время такой жизни я перестал менять простыни и ложился спать с той единственной сменой белья, которую она гладила своей рукой; ту смену белья, которую она своей рукой положила в чемодан; те простыни, на которых мы не раз спали вместе. Я перестал менять трусы и рубашку, носил только те носки, которые она штопала перед дорогой. И без перерыва сочинял это единственное письмо к ней. С каждым разом все новые и новые забытые детали ее одежды, ее вещей, предметов, которых она касалась, становились все отчетливее: всплывало то, чего я раньше как будто никогда не видел. И чем больше нагромождалось этих деталей, тем ближе казалось мне ее приближение, но каждый раз, оглянувшись на полосу отраженного света на жалюзи через все темное небо, я еще раз убеждался, что ее нет, и я снова чувствовал, что проваливаюсь в дыру ее отсутствия здесь. Это была такая черная дыра в пространстве и во времени, и я пытался заткнуть ее, залатать своими письмами. И снова эта черная дыра прорывалась сквозняком. И я снова накидывался в памяти на детали, с упорством не желая принять настоящее, потому что выйти в это настоящее можно было только в наспех склеенной маске. Я же хотел остаться самим собой, тем, которым был, а тот, которым я был, неразделим с ней; и эту прошлую неразделимость я был вынужден заполнять припоминанием и нагромождением деталей. Я

писал эти письма без перерыва, расстелив около себя ее платок. Потом сочинял для себя ее ответ, начисто переписывая его от руки. Старательно переписанные ответы из воздуха ее почерком: я старался вспомнить каждую случайную бумажку, написанную ее рукой, записку, что купить в магазине, старался представить себе эти записки, а потом подражал воспоминанию о ее почерке. В этих ответах, через которые пробивалась моя интонация, сколько бы я ни старался убедить себя, что это ее настоящие ответы, она писала, что не может без меня, что, когда она пытается сделать вид, что ее сегодняшняя жизнь нормальна, когда она пытается бороться с анархией сегодняшнего дня, ей все время приходится обращаться назад, потому что весь ее сегодняшний день связан с моим отсутствием. А обращаясь назад, она снова вспоминает, как я ее оставил одну в пустой квартире, спокойно и безразлично бросил, и она не может этого мне простить, и она снова обвиняла меня в предательстве. В этих ответах я писал то, что не мог сказать ей в своем письме, то, что мне хотелось замалчивать от самого себя: что я уехал из-за вечного бзика не принять того, что уже есть, из-за желания уцелеть в вечности любой ценой, что я специально завел наши отношения в тупик; что я, ради абстрактных принципов, взял на себя роль, за которую теперь расплачиваюсь. Что теперь мы поменялись ролями. Что теперь я твержу о близости, а она не может пожертвовать своими принципами. Получив такой "ответ", пригвождавший меня на целый день к постели, я рвал его на мелкие кусочки. И принимался заполнять эту рваную дыру в переписке новым ответом. Мы поменялись ролями, да, мы поменялись ролями. Но кто заставил нас не жить день за днем, а однажды проснувшись, обвинить свою собственную жизнь от имени самого себя? И отказаться от нее и изменить лицо, переместить себя, свое лицо, стать перемещенным лицом? Кто режиссер этого театра неестественности? Я вспомнил спокойное, до сонной одури безразличное, изжеванное службой лицо пограничника с

автоматом, и я заплакал. Бедные мы, бедные, я тебя люблю, а ты наплюй. Я плакал над ее ответами мне, над своими ответами ей, а в ее ответах на мой плач сам себе писал, что она плачет над моими письмами. Иногда, проснувшись ночью от еще одного внезапного объяснения непрерывной нелепицы, в поисках клочка бумаги я наталкивался на платок под рукой и черкал ключевое слово прямо на платке, чтобы на утро вспомнить. Однажды, в очередной раз развернув этот платок, я увидел, что он весь от края до края испещрен моими каракулями — от ее имени, от моего имени, снова от ее имени: слова убеждения, мольбы, плача, раздражения — все это налезало друг на друга, толпилось, перепутывалось в одно письмо с неизвестным адресом, где непонятно было, кто получатель, а кто отправитель. Это был и вопрос, и ответ одновременно, она и я сливались в одно непрерывно вскрикивающее от шишек солнечной системы лицо. Перемещенное судорогой собственной вины лицо, предавшее самого себя, но требующее, чтобы это предательство воспринималось как оправданная свыше жестокость всякого продвижения к истине. Ради чего? Во имя вечной мании различия. Мании обнародовать это различие на весь мир, вселенную и метагалактику. И мании обладать правом это сделать, несмотря ни на что. Пойми, пойми, пойми, что эта наша переписка не может разрешиться ничьей правотой, потому что за все дни и ночи нашей жизни мы стали настолько неотличимы друг от друга, что все то, из-за чего ты не едешь, — это все то, из-за чего я так долго оставался; и все то, из-за чего я тебя бросил, — это вся твоя верность мне, которую у тебя нет сил предать. Ты посмотри, посмотри, посмотри: ведь наши взаимные упреки звучат одними и теми же словами, потому что нет у нас других слов, кроме общих, это не переписка, а бесконечное переливание одной и той же крови друг в друга, пока ты не станешь пустой, а я порожним. Отъезд для тебя стал бунтом различия в этом безумии схожести тех моих слов, впитывая которые, ты создала меня в отражении собствен-

ных глаз. Но этот словесный бунт оставания на деле стал разлукой. Это теоретическое право быть другим на деле становится самоубийством. Или убийством. И никто этого права отнять не может. И мы обвиняем друг друга в военных потерях мирного времени. А впрочем, чего я вам пересказываю ваши собственные письма? Не надо на меня так смотреть: я их не читал, я просто знаю, что все письма разлученных людей одинаковы и мы каждый раз с новым приливом сумасшествия заново сочиняем одно и то же письмо, вечный донос в высшие инстанции. Когда я кончил писать это письмо, я уже плохо понимал, на каком свете я нахожусь. Я, видимо, уже несколько дней ничего не ел, плохо понимал, когда начинается день, а когда ночная темень. Я бы мог пойти к знакомым, и меня бы встретили с тайной радостью от появления еще одного соучастника, за мной бы ухаживали и кормили, пока я бы не встал на ноги и стал бы еще одним присоединившимся к их солидарности присоединившихся. Но от одной мысли встречи с этими выведывающими глазами, требующими признания их правоты отделенности и исключительности на пустом месте, мне снова хотелось зарыться с головой под одеяло. Но это решительное последнее письмо я должен был отправить, а потом было наплевать, надо было бы просто ждать и ждать ответа. Я вложил письмо в конверт, облизнул края конверта и прижал покрепче рукой, как бы надеясь, что никто, кроме меня и ее, это письмо не прочтет. Потом наклеил марку с Мертвым морем и надписал московский адрес. Положив письмо в нагрудный карман, я вышел на улицу. Местная почта была закрыта, я сел на автобус, чтобы доехать до главпочтамта. Но в автобусе, то ли от голода, то ли от резкого запаха бензина, меня стало подташнивать, и на центральной автобусной станции я вышел и решил дойти до центра пешком. Я шел мимо столярных и слесарных мастерских, и стук молотков нарастал в моих висках до постоянного волнообразно усиливающегося звука, наверно сливающегося со стуком сердца, и губы стали

издевательски нашептывать советскую песенку про кузнецов, которые куют счастья ключи, в стальную грудь, где вместо сердца пламенный мотор. Потом в голове стал крутиться последний разговор, но я никак не мог вспомнить, где надо жить, или умереть, или есть? Быть надо тем, кем ты хочешь родиться, или: жить надо там, где ты хочешь быть, а быть там, где ты будешь есть, а есть надо там, где тебя нет, или быть тем, который есть? Быть надо тем, кого нет. Стук молотков становился невыносимым, и я свернул на боковые улочки. Может быть, от голода, может быть, оттого, что я наконец решился отправить это письмо, но в голове была кружащая легкость, я не шел, а почти плыл по улицам, которые, уйдя от автобусных маршрутов, превращались в сотни отдельных городов, пролезших друг сквозь друга, летящих друг над другом, как будто запущенные в воздух чьей-то детской рукой; они были как будто не настоящие, потому что в каждом из городов жили не для того, чтобы жить, а для того, чтобы доказать каждому проходящему, что его проживание и есть истинное. Я шел мимо этих воинствующих друг с другом истин и уже не помнил дороги, пока не вышел на улицу, которая вдруг показалась мне сплошным напоминанием, но я не мог понять, в чем эта ее необыкновенность, пока не заметил по обеим сторонам деревья с высокими и крепкими стволами. Но важно не это, а важно то, что деревья эти были голыми. Не было листьев, не было тех вечнозеленых листьев на вечнозеленых деревьях, утомляющих здесь своей вечнозеленостью. И я понял, что сейчас у нас зима, а значит, там люди перебираются через сугробы и скользят по заледеневшему асфальту, и мне самому стало холодно, холодно, холодно и все на мгновение знакомо, как будто я очутился в собственном детстве. Но не успел я почувствовать этот неожиданный всплеск знакомого, как будто тебя окликнули по имени, как глаза мои столкнулись с как будто вырезанной в воздухе картинкой. На фоне розово-серой застывшей вулканической пены камня, где между каж-

дой, отделенной друг от друга частицей материи крадется, вертится, уваливает, стучится в глаза, тащит за шиворот и несет вверх холодный воздух, который борется со всем на свете белым светом так, что непонятно, отталкивает ли тебя неуловимая стена ослепляющего света или соблазняет тянущий шелк воздуха — в этом незаметном глазу вихре стоял человек во всем черном и в белых чулках. Он стоял как исторический протест и как подтверждение космических пришельцев одновременно. Его черная широкополая шляпа, отороченная сибирским мехом, была вырезана из пространства и времени: под ними крепко надутые упитанные щеки с понятливыми ясными глазами, делавшими его похожим не то на киргизского князька, не то на сибирского воротилу. Но все это сметалось не знающими времени и пространства развевающимися кольчатými светящимися косичками, которые закручивались и вились, начиная от висков и теряясь вдали, как будто на стереоскопической открытке: чуть повернешь — нормальная картинка, а чуть тронешь — и вот сейчас выплывет невидимый раньше предмет. Я дотронулся до письма в кармане, чтобы придать этому впечатлению минимальное чувство реальности, устойчивости в этом театре неестественности, дошедшей до такой крайности, когда становится уже новой естественностью. Он был настолько отделен от остального мира, что уже нельзя было говорить о неестественности его жизни, он, может быть, и был тот среди тех, кто жил без оглядки на остальной мир, и так и было бы, если бы остальные на них не глядели, но они делали все, чтобы привлечь внимание остальных своей отделенностью. А без этой отделенности нет жизни без оглядки. С театральной настойчивостью он проповедовал явность отличия, заведомо зная, что его вид вызывает у большинства приступ хохота, но он как будто сам с благодушным упорством этот хохот провоцировал, он, ряженный с неясным божественным заданием, он ходит как чучело на этом шумном огороде. Но ведь чучело придумано для отпугивания ворон?

Где же вороны? Кто же вороны? "Кама зман ата мет?" — вдруг прокаркал черный человек и посмотрел на меня своими любопытными глазками. "Сколько времени ты мертв?" — перевел я с трудом четыре слова, когда он повторил свой вопрос второй раз. Когда до меня дошел смысл фразы, я посмотрел на него одновременно умоляюще и разозленно, кусая губы. Он хотел сказать, что я, не соблюдающий закон, я — живой труп. Но ведь он не знает, сколько мне сил нужно было преодолеть себя, чтобы оказаться здесь. Чтобы жить там, где уже умер? Он вдруг как будто понял что-то и сам смутился. "Кама зман ата ОМЕД?" — еще раз услышал я с усилением на последнем слове. Он спрашивал, сколько времени я здесь СТОЮ, а не МЕРТВ; для моего уха не было разницы между его "мет" и "омед": между "быть мертвым" и "стоять". Он спрашивал меня, сколько времени я здесь стою. Я поднял глаза и увидел, что стою на автобусной остановке. Он спрашивал, давно ли не было автобуса, вот что он хотел спросить. От этой обидной нелепицы краска залила мое лицо, и я, не ответив, шагнул в ближайший боковой проулок. Он шел резко вниз, спуск был крутой, и я почти бежал, спотыкаясь, и вдруг выскочил из курулесицы переулков на неожиданно гигантский пустырь и остановился задыхаясь. На дальнем расстоянии шли серые стены старого города, пустырь был на уровне моих глаз линией холмов, я был как бы снизу, а с холмов на меня неслась лошадь, она неслась и ржала, задирая голову вверх, а я стоял, застыв в страхе и восхищении, настолько не веря ее живому телу, что готов был быть затоптанным ею. За шаг от меня она остановилась как вкопанная и потянулась ко мне всем туловищем, жалобно вытягивая шею и обнюхивая подрагивающими ноздрями. Я уже протянул к ней руку, но как будто из-под земли появившийся подросток-араб подскочил и резким взмахом хлестнул ее маленькой плеткой. Она дернулась и, повернувшись, засемила вверх, к стенам. Я дошел, видимо, до восточной части города, потянуло уже вечер-

ним холодом, и мимо меня, не замечая меня, шли горстками арабы-рабочие, в грязных от штукатурки штанах и в белых накидках, которые, в сочетании с этими штанами, вдруг стали напоминать обернутое вокруг головы полотенце женщины, выходящей из бани. Все тут голые и беззащитные. Я повернулся от стен и чуть не столкнулся со священником в черной рясе с чемоданом в руках. Его остановила дамочка в короткой юбке, тоже с чемоданом, они быстро говорили о чем-то, потом засмеялись, и женщина, продолжая улыбаться, побежала в одну сторону, а священник засеменил вверх по переулку, с которого я только что сбежал сюда, вниз. Я почти дернулся, чтобы пойти за ним, но потом передумал, пошел вперед, мимо ворот, мимо нелепых в этом городе четырех пальм, и вновь вниз, пока не оказался здесь. В квартале, где мы сейчас сидим. Я шел по улице с большими пустыми домами и снова почувствовал запах бензина, машинного масла и постукивание молотков. И тут я увидел в окне портрет Теодора Герцля. Это было так странно и неожиданно увидеть в таком квартале фотографию, которую мне по секрету показывали в Москве. Если вы сейчас поглядите через улицу, он в витрине напротив, но сейчас уже темно. Когда я подошел к этому окну с фотографиями, начинало темнеть. Я тогда плохо понимал, где я нахожусь, и в недоумении стоял перед гигантским портретом Теодора Герцля, а рядом было еще несколько Теодоров Герцлей, уже поменьше, в окружении людей в парусиновых шляпах, от мала до велика, видимо, одна семья, немигающим взглядом смотревших в фотоаппарат. Почему вдруг тут портрет этого мечтателя и фантаста, на этой невзрачной улице, под невзрачной музейной вывеской? Напрягая зрение, я пытался понять, что написано на явно музейного вида листке в окне под фотографиями, но с моими знаниями это мне явно было не по силам. И тут я услышал за спиной голос, бубнивший себе под нос, нашептывающий вслух, и, скосив глаз, я увидел того же человека в черной шляпе и белых чулках. Но говорил

он по-русски. Он не говорил, он переводил самому себе под нос этот музейный листок в витрине, и я боялся повернуть голову, чтобы не встретиться с ним взглядом. Это была не русская речь, а какая-то польско-неведомо-где-услышанная тарабарщина, но с понятными словами, неясно как соединенными, скорее, для самого себя, не язык, а словесные упоминания для перевода вслух для самого себя, чтобы, не договорив слово, проскочить дальше. Он заметил поворот моей головы и вдруг подмигнул мне и добродушно улыбнулся. Вся театральщина вместе с карманным Мефистофелем с вопросом на автобусной остановке вдруг испарилась, и до меня вдруг дошло, что вся его ряженность — это вовсе не высшее доказательство, не молчаливый протест беззаконию, а обыкновенная домашняя привычка. Так его одевали с детства и так он будет одевать своих детей. Потому что так одевались его польские деды, и это нежелание менять одежду было тоже тоской по прежним временам, тоской по другому дому, по тому забытому жесту, когда, чтобы достать табакерку, надо было откинуть полу сюртука, и, чтобы узнать время, надо было тоже откинуть полу сюртука, и, чтобы высморкаться, надо было тоже откинуть полу сюртука, чтобы достать платок. И в этом танце по цепочке с одними и теми же жестами нельзя и одежду менять, потому что забудешь, куда ставить ногу. Но страшно тому, кто пустился в чужой пляс. Это как вмешаться в чужой разговор. Он стоял за моей спиной, шепотом на этом полупонятном языке переводил эту музейную записку, то ли мне в ухо, то ли себе под нос, и его слова почти сливались с тем, что у меня вертелось в голове, и стало неясно, говорю ли я сам с собой или это он нашептывает на ухо. Это был дом внуков того человека, у которого проживал Теодор Герцль, когда приехал в Иерусалим, чтобы добиться встречи с кесарем Вильгельмом, который тоже приехал в Иерусалим. Зачем они сюда попали, было непонятно. В нормальной гостинице устроиться было невозможно, и в том гостиничном номере, который достался пророку

первого в мире государства, его кусали клопы. Он хотел съехать от клопов, но все гостиницы были забиты, в связи с приездом кесаря Вильгельма. И тогда наш дедушка предложил Теодору остановиться у него в доме. Когда Теодор Герцль шел на встречу с кесарем Вильгельмом, наш дедушка одолжил ему свой цилиндр. Без цилиндра было никак нельзя. Если бы не было цилиндра, не было бы первого в мире такого государства. Если мой переводчик, стоявший за спиной, не будет носить этой шляпы с сибирским мехом и черного лапсердака, не будет другой, более важной встречи, которая все откладывается и откладывается. А когда однажды наша бабушка заметила, что Теодор Герцль вышел из дома, забыв повязать галстук (он так и произнес — галстук), наша бабушка побежала за ним и повязала собственными руками этот галстук, который вы можете видеть в доме-музее Теодора Герцля. Тут и начинается другое мышление, явно другое, и не будет тут никакого посредника между двумя кланами: пока существуют сумасшедшие, размахивающие каменными свитками и целующие живые камни, и те, другие, кто, глядя на первых, иронически усмехается и хочет, чтобы все решилось по-человечески. А тут ничем, кроме встречи и просьбы, не поможешь. Просьбы. И кусающих клопов. А потом вместо всего намечтавшегося государства будет дом-музей на пустынной улице, вход две лиры до полудня. Все это важно только одному на свете дому. А я иду по искривленному пространству, в гостинице уже без клопов, мечтаю о большом здании справедливости. А надо идти одному к неведомым пределам, душой тоскующей навеки присмирив. Какая может быть справедливость, когда небо в кавычках, а Иерусалим на небесах? Или не на небесах, но тогда земля, на которой он стоит, — в кавычках. И все растеряли свои прежние имена, а те, кто не растерял, они всегда не здесь, они далеке. Тут идет, и была, и будет непрерывная война всепрощения между всеми остающимися и теми, у кого разговор идет уже четыре тысячи лет, и не могут они

ни забыть, ни прекратить этот разговор, даже если собеседников нет. Но они ищут соучастников, собеседников, а собеседники все не те, а соучастники предателя, а как можно быть, стать собеседником, когда для того, чтобы им стать, ты должен забыть все на свете прежние слова? А когда Теодор Герцль увидел, что наша бабушка вертит ручную мельницу, чтобы сварить ему кофе, он подбежал и стал крутить эту мельницу своими руками. И мишенью для всех обвинений выбирается всегда самый пострадавший, потому что никто не поймет твоего удара, кроме того, кому это будет больше всего. Если бы понять, что виноват не в том, что бросил, а в том, что она чувствует себя виноватой, потому что ты связал ее судьбу со своей, и она стала чувствовать себя виноватой из-за того, что не может разделить твое ничем недоказуемое и необъяснимое желание отличия. От чего? От собственной skóry? И ты виноват, потому что заставил ее чувствовать себя виноватой. Ты намечтал светлое здание, построенное на разлуке и слезах. Потом он стал говорить про то, что в доме-музее одна из стен осталась неоштукатуренной, и я никак не мог понять, что же случилось, пока после потока слов над ухом не разобрал, что оставлять стену неоштукатуренной — это знак памяти о разрушении храма. Я вспомнил, что уехал из Москвы, так и не обклеив одну стену в коридоре обоями: однажды, когда мы делали ремонт, не хватило обоев, и мы заклеили одну из стен в коридоре картинками из журнала "Америка", и все собирались подкупить обоев, и так и не сумели. Мне снова надо было открыть ключом дверь, мне необходимо было еще раз увидеть эту не заклеенную обоями стену. И до меня дошло, что оставлять стену неоштукатуренной — это самое страшное напоминание о покинутом доме. Это такое бьющее в глаза напоминание, чтобы всегда знал и отдавал себе отчет в том, что дом, в котором сейчас проживаешь, он недостроен. Я бы не удивился, если бы одну из стен оставляли не только неоштукатуренной, но вообще недостроенной, чтобы оставляли дом без одной стены:

чтобы всегда дул ветер и напоминал тебе, что твой дом не здесь. Что ты в этом доме временный жилец. Что ты временный жилец на этом свете, а однажды ты приедешь домой. Каково же было тому, кто был изгнан из Иерусалима, в котором родился? И было запрещено возвращаться в этот город, знакомый до слез? Каково было тому первому, который потащился вон по дороге с узлом за спиной? А потом с ума сходил по ночам, во сне открывая ключом дверь своей квартиры и видя, как убитая римлянами жена мелет кофе в ручной мельнице, и он подбегает, чтобы сварить кофе своими руками в кофейнике со знакомой отломанной ручкой, и вдруг видит, что стен в доме нет, что по земле гуляет ветер, и они сходили с ума. Они давали себе зарок не влюбляться в новую чужбину, где нашли убежище; они все время готовились к побегу назад, к возвращению, чемоданы стояли всегда наготове. Они с жадностью узнавали последние новости о Иерусалиме, что вот-вот власть сменится и они соберут чемоданы и снова откроют дверь ключом, и они снова и снова рассказывали, что они увидят вновь все, что они оставили, каждую деталь, значение которой было известно только им. И дети стали записывать эту песнь возвращения, и отцы придумали законы для того чтобы сохранить все в памяти, чтобы не запутаться в старых маршрутах, когда придет время возвращения. Ведь все законы — от умывания рук до порядка чтения книг по дням — это же бешеная песнь ностальгии по тому месту, по которому однажды прошел и продолжаешь ходить только во сне, и этот сон надо точно записать. Но потом родилось другое поколение, и для него законы стали наукой, они стали выуживать из этой стенограммы напоминаний чистую истину, делать философские выводы из телефонной книги и устраивать дискуссии о почтовых штемпелях. Ведь законы сочинялись через почтовую переписку. Непрерывную переписку с теми немногими, кто оставался в Иерусалиме. Непрерывные вопросы и ответы, вопросы и ответы по почте, и между вопросом и ответом

проходили годы, потому что письмо было послано во времена одной империи, а ответ получен, когда Иерусалимом правила уже другая империя. И только единицы стали постепенно понимать, что возвращение все больше и больше замыкается в рамки почтового конверта, что чемоданы давно растрескались и развалились, что вернуться нельзя туда, откуда ушел, потому что возвращаешься всегда к себе, а тебя там давно нет, и остается только изнуряющая тоска по возвращению; что вечной становится молитва о возвращении и о верности тому городу, где всего круглей земля, где мертвые друзья тебя ждут не больным, не отпетым, где всю ночь напролет ждут гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных. Ведь каждый, кто ушел, всю жизнь оправдывался перед теми, кто остался. То есть перед теми, кто был убит. Каждый, кто ушел, оправдывался перед самим собой в нарушении последней заповеди верности: быть убитым, но не расставаться. И всякий, кто хочет вернуться в Иерусалим, — это тот, кто не может простить себе того, что уцелел. А тот, кто верил в истинность собственного бегства, он уже не вернется: он будет ждать, пока его молитва не изменит мир. Возвращаются те, кто был готов умереть тогда: жить надо там, где уже умер. Но потом появились ученики учеников, которые влюблялись по ошибке в чужую судьбу, стали входить в чужую одежду дымом чужого горения. Они стали жить не своей тоской по утраченному не ими. Они стали принимать на свой счет не ими сказанные слова. Для них эти слова были не строчкой процитированного письма, которое наконец получил после ожидания долгими бесцветными днями, а почта работает безобразно. А потом появились ученики, опровергающие учеников тех учеников, и для этих уже не звучала ни одна из скрытых ностальгических деталей в дошедших до философских оснований размышлениях о ритуале. Для них все звучало однозначно: изгнанный должен вернуться из убежища, откуда его гонят. И тогда будет ночь в гостинице с клопами, а ты сидишь и ждешь встречи со всеми

кесарями и ведешь бурную почтовую переписку с главами государств. Как будто кто-то может позволить недозволенное. Нельзя вернуться туда, откуда ушел близкий тебе человек, но где ты сам никогда не был. Нельзя пережить чужое изгнание как свое, и голубые песцы будут сиять только на конвертах, и чужая тюрьма, и чужая свобода не станут твоими: ты будешь плутать в трех соснах, но ни одна из них не достанет до звезды. Можно изучить все подробности покинутого места. Можно, как шпион, который засылается в чужую страну, подделать документ, выдать чужую биографию за свою, изучить язык, на котором говорил гражданин этой страны, маску которого ты на себя нацепляешь, зазубрить даже акцент его речи. Но все равно это будет любовь к чужой любви. Это будет любовь к чужой жене. У вас был когда-нибудь роман с чужой женой? С женой вашего друга и учителя? Когда вы хотите, но не можете, можете, но не хотите, это то украденное, о чем вы мечтали всю жизнь: потому что у вас чувство того, что вы обкрадываете его, а обкрадывая его, вы обкрадываете себя, потому что вы сами почти его рук создание. Вы понимаете, что как можно унижить чужие высокие слова своими нелепыми и лживыми жестами? Да и слова уже ничьи, не твои, не мои, не его. Они твои, мои, его, их нельзя трогать. Вот что происходит с Богом и родиной, когда ваша родина принадлежит уже только Богу и больше никому, если вы понимаете, что я имею в виду. И сколько будет самоубийц из-за любви к жене вашего собственного отца, но которая не была, не стала вам родной? Вы не ее сын. Но она вам и не мачеха. "Молодой человек, молодой человек", — вдруг услышал я голос за спиной. Когда я обернулся на этот женский крик, моего невольного переводчика не было. Я, наверное, уже долго стоял вот так вот перед окном с фотографией Теодора Герцля, разговаривая сам с собой, и голос этот, хрипловатый и домашний, показался мне до того знакомым, что я не сразу повернулся, считая, что он принадлежит мне самому или моему несущест-

вующему собеседнику. Я обернулся. Через улицу, быстро темнеющую в наступивших сумерках, светилась витрина и распахнутые двери заведения. Как вы можете легко догадаться, именно этого заведения, в котором мы с вами сидим. Если бы я не обернулся. Если бы я не обернулся, а пошел себе, считая, что этот голос мне послышался. Но когда я обернулся на холодной темной улице и увидел освещенный вход и витрину напротив, я пошел, потянулся к этому уютному свету как мотылек к лампе. Я стал переходить улицу покачиваясь и увидел, что из открытых дверей мне машет рукой женщина: "Молодой человек, молодой человек". На секунду мне показалось, что я давно ее знаю, но только не мог понять откуда; да и не здесь я на эту секунду очутился: время вдруг покачнулось и поплыло, и я мучительно зажмурился. Когда я приоткрыл глаза, я увидел, что из-за столика поднялась женщина и поманила меня рукой. "Не поможете ли донести этот чемоданище до главпочтамта?" — с затасканной женской иронией и одновременно умоляюще спросила она. Тут я вспомнил, зачем я, собственно, оказался на этой улице: мне надо было отправить письмо жене. Неужели она сама не может донести свое барахло, о чем она думала раньше, — разозленно промелькнуло у меня в голове; от запаха жарящегося мяса и горячего супа головокружение и тошнота снова вернулись. Она смотрела на меня сочувственно и заботливо. Ей было под пятьдесят, она годилась мне в матери, ей, может быть, было и больше, но трудно было сказать, потому что на улице были сумерки, ее губы были ярко накрашены, на голове с нелепой кокетливостью сидел берет; она была похожа на молодящуюся вдову большого чиновника, на тех дам-благотворительниц, убивающих собственную скуку обследованием квартир новоприбывших, заглядывая к ним в холодильник, давая запутанные советы старожилу, как сэкономить две лиры в продуктовой лавке на другом конце города, истратив на дорогу все четыре. И конечно, при каждом удобном случае всучивая ношеную одежду и искрен-

не оскорбляясь, когда отказываются застегивать на своей шее чужой потертый воротник. Я взглянул на увесистый чемодан рядом с ней. Чемодан и набит, наверное, этой ношенной одеждой для новоприбывших. Обязательно это переодевание всегда. Я вспомнил чей-то переезд прошлого века, когда, перейдя границу, он сбросил с себя всю одежду и перешел границу голым. Нехотя взявшись за чемодан и пытаясь поднять его, я покачнулся. "Вот видите, вот видите, я всегда говорила, что в вашем возрасте необходимо соблюдать режим. У вас болезненный вид, вам нужно активно питаться и спать по ночам", — затараторила она и взялась за чемодан с другой стороны. Вот так вот, взявшись вдвоем за одну большую кожаную ручку, мы вышли с распухшим чемоданом на улицу и двинулись вниз к главпочтамту. Чемодан был огромный и неудобный, он бил по ногам, ее широкие бедра напирала на него слева, но я не решался взять его в свои руки. Мы шли и шли, и этот путь казался мне таким долгим, что мне стало казаться, что мы никогда не дойдем до почты, и вообще, на почту ли мы идем? Иногда она поворачивала голову ко мне и смотрела на меня своим сочувствующим и раздражающе заботливым взглядом, но у меня не было сил разозлиться и бросить чемодан. Он стал казаться неизбежимым наказанием, и я только морщился, чувствуя, как все сильнее и сильнее ноет плечо и рука слабеет. Но она на меня посматривала, и я, стараясь держаться прямо, следил только за тем, чтобы не споткнуться, не упасть, потому что этот чемодан надо донести во что бы то ни стало, хотя иногда у меня мелькала мысль, что никто ведь меня не обязал нести этот чемодан и я мог сразу же отказаться под вежливым предлогом, а теперь вот ташу неизвестно что, неизвестно зачем и неизвестно куда. Толпа на улицах увеличивалась, и было похоже, что сегодня какой-то праздник, но ведь никто мне об этом не сказал. Мы огибали автомобили на перекрестках, автомобили медленно пробирались сквозь толпу. Какой вчера был праздник? Когда каждый день

что-нибудь случается, вся жизнь превращается в сплошной праздник. Веселая злость беспомощности подталкивала меня вперед. Вокруг летали цветные пятна трещоток и дудок, и пластмассовые молоточки мелькали в руках и взрослых, и детей. И взрослые, и дети толкались локтями, обгоняя друг друга, друг друга настигая, высовываясь из окон автобуса, чтобы стукнуть сверху зазевавшегося на тротуаре пешехода. Но это были настоящие удары, пластмассовый молоточек опускался на голову со шлепающим звуком пицалки, издававшей неприятный писк, как будто вы наступили на лягушку или мышь попала в мышеловку. Писк и глухой звук сливались с криками и хохотом в один общий гам, сквозь который до меня доносился звонкий и резкий голос владелицы чемодана, перед которой все на секунду расступались так, что мы шли через как бы постоянно образующуюся пустоту в толпе: "Вы совершенно от рук отбились, за вами, наверное, никто не следит, вас надо немедленно поставить на ноги, а то ведь вы бьетесь, наверное, в одиночестве головой о стену и эту стену принимаете за реальность, — тараторила она, — вы должны влиться в этот праздник, а у вас даже улыбнуться нет сил, потому что вы продолжаете жить в другом мире. Вы должны соотносить ваш сегодняшний день с новым коллективом людей, стать полноценным членом общества, согласны? Когда я приехала, кто бы мог подумать, что наступит день с такими толпами на улицах? Ведь мой муж сначала уехал один, а я ни за что, я плакала год не переставая, а он меня засыпал письмами с мольбой и уговорами. Я сначала умирала прямо по Москве, а потом свыклась: время все лечит, другие горести и заботы, главное — это перестать сравнивать прошлую жизнь с нынешней, влиться в новый коллектив, правда, вы согласны?" Я пытался улыбнуться, уж очень задорно она проповедовала, с энтузиазмом комсомолки двадцатых годов. Над ухом у меня пицали молоточки, и я вспомнил слова о том, что черт не может касаться святой земли и поэтому он селится здесь в

головах местного населения. А по праздникам они бьют друг друга по голове, чтобы выбить, наверное, черта. В висках у меня стало стучать, и этот стук слился в памяти с тяжелыми руками рабочих, стучавших молотками на той улице днем. Наконец впереди замаячило длинное серое здание главпочтамта с черневшими окнами-бойницами, и мы стали пробираться по тротуару ко входу, и толпа снова расступалась перед нами. У меня сильно кружилась голова, и, механически фиксируя, я только заметил, что не было у дверей скучающей фигуры охранника, обычно грызущего семечки, вместо того чтобы проверять сумочки с бомбами террористов. Двери были заперты. "Неужели, неужели опоздали?" — всплеснула владелица чемодана удивленными руками и выпустила ручку. Чемодан, на секунду повиснув в моей руке всей тяжестью, упал с тяжелым стуком на асфальт, я покачнулся и потерял сознание. Когда я очнулся, я увидел женские ноги с острыми коленками: она сидела передо мной на корточках, вытирая мой лоб и виски мокрым платком. "Голодный обморок, явно голодный обморок, — как будто сквозь вату услышал я ее голос. — Вас надо немедленно накормить, и сразу в постель, вот только доберемся до дому, и я вами займусь". Она помогла мне подняться на ноги. Чемодан, раскрывшийся при падении, лежал на асфальте. Я огляделся. Из чемодана вывалилась груда писем, которыми он был набит до отказа, и эти почтовые конверты белели на асфальте, и у меня стучало в висках. Вокруг кольцом толпились любопытные с молоточками в руках, которые на минуту перестали летать по головам. В этих разбросанных на тротуаре, вывалившихся из чемодана конвертах, во всей этой сцене было что-то неприличное и преступное, и, хотя я не чувствовал никакого замешательства в ее поведении (было вообще такое впечатление, что ее все тут знают и ничуть не удивляются), я, преодолевая головокружение, стал помогать ей закидывать конверты обратно в чемодан. И мне сразу бросилось в глаза, хотя я был в таком состоянии, что собственным глазам уже

не верил, мне сразу бросились в глаза стандартными буквами надписи на конвертах: "извещение о смерти". Стандартный штамп на каждом конверте: "извещение о смерти". И еще на одном, и еще, и на каждом, но мне было не до того, тем более не до собственного удивления. "Вы у меня как следует отлежитесь и думать забудете, что это с вами случилось", — продолжала она убежденным тоном и, захлопнув чемодан, подхватила его одной рукой с такой легкостью, что я удивился, зачем вообще нужна была моя помощь. "Я живу одна, мужа давно похоронила, вам будет спокойно. И, пожалуйста, не возражайте и не думайте, что это благотворительность, я давно искала подходящую кандидатуру, — запротестовала она, хотя я не произнес ни звука. — Вы ведь немножко сочиняете, ведь правда? У меня найдется для вас не слишком обременительная работа, надо будет кое-что переписывать, но я потом все объясню, а сейчас — домой, немедленно домой". Она продолжала говорить с той же диктаторски заботливой интонацией, но я не слушал, точнее, принимал ее слова как данность, с которой давно смирился, настолько мне было безразлично, что со мною будет, как бы считая, что все, что могло со мной случиться, уже давно произошло. Она легонько подтолкнула меня вперед, и, когда мы двинулись, я услышал за спиной смешок, и кто-то из кольца любопытных не удержался и стукнул меня молоточком по голове. Удар был почти нечувствительный, как будто легонько шлепнули ладонью, и тут то ли я услышал писк, то ли внутри у меня что-то прорвалось и пискнуло, но вдруг слезы стали катиться из глазных щелок, и, сколько я ни зажимал глаза, они продолжали катиться, и я плакал беззвучно. Я оплакивал того, кто думал, что жил вопреки или во имя истины, а ему вдруг ясно и четко дали понять, что он безвольное ничтожество, существующее за счет чужой беды. Он думал, что он всех спасает своей готовностью к несчастью и одиночеству, а ему объяснили, что он только заставил других чувствовать себя виноватыми, потому что не хотели разделить с ним холод и раз-

луку. Он думал, что его клеймят и преследуют, а ему объяснили, что его терпят из милости, как недоумка в семье. Она держала меня за руку и как будто не замечала, что я плачу, и мы шли вниз по улице, ведущей вверх, и толпа снова расступалась перед нами то ли в испуге от странной парочки, то ли в привычной осторожности, то ли от недоумения. Мы дошли до рынка, и она свернула в железные ворота. Ночной рынок был пуст, с уходящими рядами пустых прилавков, с замками на дверях складов, с черными проходами, убегающими неизвестно куда, и только раскачивающаяся желтая лампочка освещала иногда выплывающий неожиданно угол. С главной улицы доносились голоса, и пение, и хохот, они проносились эхом с одного конца до другого, отражаясь углами и замками, и казалось, что рыночную жизнь продолжают резкие кричащие эхом тени от желтых лампочек, когда она вела меня, как слепого, насквозь и через. Потом мы выскочили из этого мертвого эха голосов, и она нырнула в арку дома, но это оказался не двор, а целая цепь переулков, стиснутых в один квартал, забитых домами, и еще домами, и еще. Дома были с толстыми стенами, в стенах были ворота, но ворота вели не во двор дома, а в еще один лабиринт переулков, а когда я поднимал глаза, я увидел темнеющие на крышах деревья, и лестницы, ведущие на второй этаж, тоже кончались арками, и там тоже, наверное, еще один город в городе, и уже не найдешь обратной дороги в этих городах, в городах с каменными колодцами, запечатанными на случай осады, с окнами под жалюзи, сквозь которые просачиваются еле-еле желтоватый свет и гортанное праздничное пение, и неизвестно, куда постучаться, или известно, что стучаться бесполезно, чтобы тебя впустили в одну из этих жизней. Неожиданно она остановилась под одной из арок. Она поставила чемодан на землю и стала деловито рыться в сумочке. Наконец она вытащила из нее, но не ключи, а какую-то удлиненную металлическую пластинку и стала копать ею в замке, оказавшемся в стене арки. Наконец замок еле заметной в

темноте двери щелкнул, и она сняла его с петель. При этом металлическая отмычка, выскользнув из ее пальцев, упала и звякнула о камни. Когда я нагнулся, чтобы поднять ее, луч света уличной лампы скользя по секунду по этому предмету, и я увидел, что это отломившийся кусок ручки от латунной кофейной турочки. Когда она взяла из моих рук эту странную отмычку, она посмотрела на меня, и, улыбнувшись извиняюще, распахнула дверь, и втокнула меня внутрь. Я зажмурился, готовясь к ослепляющему свету после ночной темноты улицы, но, когда я открыл глаза, я понял, что свет в доме был им давно знаком и привычен: такое освещение, когда зажжешь электричество на расвете или это снаружи уже стало так светло, что не нужно уже зажигать электричество. И никак нельзя понять, сколько, собственно, сейчас времени? Я сделал шаг вперед и чуть не поскользнулся. Пол был неожиданно гладкий, как зеркало, или был зеркальным, и в нем отражалось все как в зеркале. Я оглянулся и увидел свое отражение и на стенах, потому что стены тоже были зеркальными и нельзя было понять, ты идешь вперед или кто-то двигается на тебя, нельзя было понять, сколько людей находится в комнате, и сколько в ней дверей, и где выход, а где вход. Я попытался сразу пройти к кушетке у стола в углу и направился в этот угол, стараясь не поскользнуться, но тут же ударился головой о зеркальную стену. "Не сюда, обратно, и осторожнее,— дошел до меня голос владелицы чемодана и ее журчащий смешок. — Мой муж привык к просторной квартире, у нас была ух какая в Москве квартира, вот он и обложил стены и пол зеркалами, чтобы казалось, что у нас не одна комнатка, а целая анфилада", — и она, взяв меня под локоть, подвела к красной кушетке и усадила на нее, вплотную придвинув ко мне стол так, что даже если бы я не был так обессилен, мне было бы трудно из-за него подняться с кушетки, сидя на которой колени задирались так высоко, что нужно было крепко опереться в пол, чтобы подняться с нее, а пол скользил.

"А теперь мы будем есть суп, супчик, супец", — похлопала она меня по щеке и, скинув свои туфли на высоких каблуках, влезла в шлепанцы и с неожиданной, пугающей легкостью понеслась в другой конец комнаты. Она скользила плавными движениями, разводя ноги, как на коньках, отражаясь стенами и потолком, и у меня снова закружилась голова. Открыв дверцу стенной кладовки, она стала доставать оттуда пакетики, баночки, мешочки, склянки и, быстро принохиваясь к содержимому под пробочками и резинками, выложила все перед огромной кастрюлей; потом, залив ее до краев водой, стала засыпать, и подмешивать, и орудовать половником и разными ложечками, и снова подсыпать, и пробовать на язык, и дуть, сложив губы в трубочку, пока в кастрюле не забулькало, и над кастрюлей стали подниматься клубы пара, и густой, захватывающий, все на свете вкусное напоминающий запах стал разноситься по комнате, а она стояла, и, склонившись над кастрюлей, медленно вращала, и ворочала там половником. Пена поднялась три раза, и она наконец поставила передо мной огромную тарелку дымящегося супу. От забытого чувства ненасытного голода я как будто перестал соображать и набросился на суп, обжигая губы, и рука дрожала, поднося ложку ко рту. Она уселась напротив меня и поглядывала на меня жадноватыми посвежевшими глазами, провожая взглядом каждую ложку. Когда я случайно на секунду поднял глаза от тарелки и встретился с этим взглядом, я покраснел, а потом, улыбнувшись, снова принял за этот чудесный суп. Добравшись до дна тарелки, я собрал хлебным мякишем плавающие на дне пропитанные соусом не то фасолевые, не то чечевичные зерна. Покончив с этим супом, каждая ложка которого действовала одновременно расслабляюще и наполняя силой, я впервые за долгие месяцы почувствовал, как здоровая сытая дремота клонит мою голову и веки слипаются. Я откинулся на кушетке и, улыбаясь, закрыл глаза. Я чувствовал, как дремлющее тело наполнялось тем окутывающим и обжигающим приливом сил, кото-

рый наступает, когда почти обмороженный тыходишь с мороза в дом, где пылает раскаленная печка, и твое тело начинает расслабляться, и ровный жар начинает проникать сквозь кожу, и тело начинает постепенно ощущаться все целиком. Это было то чувство легкости, которого я не ощущал уже годы, и пропадала ломота, и недомогание, и то ноющее беспокойство, из-за которого по ночам ворочаешься с боку на бок. На мгновение я приподнял веки и с блаженным безразличием до меня дошло, что я плаваю, взвешенный в горячей ванной, и чистый запах мыльной пены напомнил мне детство, когда уютные и знакомые руки полощут и разглаживают твое тело, не пугаясь ни одного его недостатка, и ты тихо смеешься от этой уютной щекотки и вытягиваешься весь от макушки до пят в одной цельной расслабляющей готовности, втягивая всем своим открытым до конца телом новые силы. И с прибавлением этой новой силы все отчетливей становилось чувство полета, и сначала меня беспокоило, что я забываю о том, о чем не могу вспомнить, то, чего никогда не могло произойти, но я в это верил, верил в то, что нельзя поверить в то, что произошло нечто непоправимое, но потом я забыл и об этом, и осталось это волнами наплывающее погружение вверх с полетом в бездну, которая подымается и летит вместе с тобой, и становится светлее, и захватывает дыхание. Я приоткрыл глаза и увидел в этом свете, который не утренний и не свет ночного электричества, в этом проникающем всюду и неиссякающем освещении, что я лежу, распростертый, в гигантском мягком халате на кушетке. Отраженный стенами и потолком, я, полупроснувшись, но такой же бодрствующий, долго и удивленно летел и плыл, и я медленно перевел взгляд вниз и увидел, что она склонилась надо мной, и ее голова у меня в ногах, и ее губы быстрыми ожогами пробегают по коже. Ее пальцы двигались как заведенные и подрагивали, касаясь, и поглаживали снизу вверх, и забирали в горсть, и скользили, и оттягивали, и отводили в сторону, и вели, и, дотронувшись, перебежали, перебирая,

и сжимались до боли в ладонь, и снова касательным движением доходили до верха, и вращали, и водили из стороны в сторону, разминая и распрямляя все сильнее, и жестче, и крепче, и помогали себе и глазами, и носом, и щекой, и лбом, и волосами, и подбородком, и вели вдоль по шее до щиколотки, и, когда, разведя ноги, они уступили место губам, я рассмеялся смехом таким незаметным для самого себя, который никто из нас не слышал. Она протянула руку вдоль моего живота, и я дотянулся до нее губами, и повернул ее ладонь, и стал всасывать ее и вылизывать каждую морщинку, и, захватив кончики пальцев, стал покусывать их, вода по своим губам и захватывая их губами, и взял палец в рот, и положил его на язык, и почувствовал, как он играет моим языком. Свернутыми в трубочку губами я стал двигать назад и вперед, и палец вертелся в моих губах и продвигался дальше в рот, и я стал водить им у себя во рту из стороны в сторону и водил по нему своим языком, и втягивал, и скользил, и сжимал до боли, и снова доходил до самого низа, пытаюсь захватить всю ладонь. Потому что внизу ее губы повторяли движения моих губ, и мой живот помогал им и ходил вверх и вниз, и губы иногда выпускали, и снова поспешно хватали, и, свернувшись в трубочку, засасывали, и скользили, и подрагивали, касаясь, и, дотронувшись, вращали и давали чувствовать изгиб гортани, и язык прижимал к гортани, и там было просторно и горячо, и губы водили из стороны в сторону и доходили до основания, и подбородок упирался в живот, и я разводил колени. И тут она, вынув руку изо рта, стала помогать себе рукой, и ее халат распахнулся, и ее большие ноги, мелькнув в зеркалах двумя белыми пятнами, запутавшими нас так, что непонятно было, где я, а где она, раздвинувшись, расставленные, поднялись над моим лицом, и красный язычок, расширяющийся и дрожащий, скользнул к моим губам. И мой язык стал скользить, и подрагивать, и перебегать, и разглаживать, и втягивать, и вертеться, и продвигаться, пока не отыскал и не стал

играть маленькой виноградиной, как будто подсушенной на солнце, а потом омытой дождем, и я всасывал ее своими губами, и она скатывалась к моему языку, и я вжимал ее губами и касался кончиком языка, и вдавливал, и перекачивал, пока она не стала набухать и наполняться собственным разогретым соком и становиться гладкой и напряженной, и час, подверженный рачительному сдвигу, тяжелым зноем отражался от виска, и она наконец, как будто лопнувшая и размякшая, полилась в мои раскрытые губы виноградным соком, который струился, и опьянял, и наполнял до самого низу, и это солнечное жжение перекатилось вниз, и брызнуло, и стало густо проливаться толчками в ее раскрытые губы, и с последним содроганием я снова все забыл окончательно. И снова уютные руки поддерживали меня подвешенным в согревающей волне, и мыльная чистая пена казалась снегом в детстве. Когда я снова открыл глаза, я лежал на той же красной кушетке, закутанный в просторный халат, и хозяйка растирала мое тело до ровного уютного жжения. Она сидела рядом и как будто помолодела, и я с удовольствием разглядывал ее ровное сильное лицо с как будто раскрытыми настезь глазами, которые смотрели на меня прямо и чуть усмехаясь, ничуть не смущаясь. И я вдруг перестал замечать ее морщины и складки под подбородком, я вдруг перестал ощущать разницу. Мне стало все знакомо и ничуть не жалко. Веревочки давно развязаны. Сон в оболочке сна, внутри которой снилось на полшага продвинуться вперед. Мне стало жаль тех, кто, ложась спать, не возвращается в прошлое состояние — когда ему снится, что он проснется там, где его никогда не было; и для этого надо сделать страшное усилие, надо однажды зимней ранью бросить всех, кем был богат, и, проснувшись, оказаться в собственном сне. И за каждой секундой стоит столько жизней, что каждая секунда растягивается на целую жизнь, а вся жизнь становится одним днем. И все завораживает, и каждая деталь имеет непереходящее значение, и нет ничего лишнего, и всего всегда

хватает. Мне совершенно стало все равно, где и когда, с пустой кошелкой или с протянутой рукой, и безразлично, на каком языке быть понимаемым каждым встречным, и когда за поворотом встает не рябина, а рожковое дерево, то рог ведь все равно трубит, и зовет, и надрывается от собственного звука, и в нем и прощание, и встреча, и похороны, и пробуждение, похоронное бдение. И караул никогда не устанет. Тут не гасят огня. Еще все впереди. Еще все позади. Ничего не произошло. Случилось все, что не могло произойти. Я смотрел на нее преданно и благодарно. Я с умилением смотрел на ее большую немолодую грудь, выглядывающую из раскрывшегося халата, и хотелось потянуться к ней, как ребенку, губами. Я потянул ее на себя, отворачивая халат и переворачивая на спину. Но она сказала шепотом нельзя и приложила палец к моим губам. Я притянул ее ладонь к губам и поцеловал в середину ладони, и она засмеялась, пожившись от щекотки плечами, и сказала: "Как насчет кофе? Сейчас мы выпьем кофейку, кофеечку, кофейцу, а?" Я кивнул головой, и она скользнула на своих шлепанцах-коньках, и я еще раз удивился ее легкости, но и удивление это было мне знакомо давно, потому что не помнил, как и когда мы встретились, и я знал, что я здесь уже давно и мне хорошо. Она развернулась у плиты и, подъехав к столу, поставила передо мной турочку с кофе. Ставила она турочку медленно и осторожно, а потом еще более осторожно разливала кофе по чашкам, потому что ручка у турочки была отломана, и она держала ее обернутым вокруг полотенцем. Кофе мы пили медленно, и с каждым горячим глотком в голове становилось все легче и светлее, я становился легким и опустошенным, но старая привычка завести разговор под это сидение за кофе заставляла меня вспомнить то последнее важное, что со мной случилось или что я должен был сделать, но вспомнить я не мог, и беспокойство, видимо, начинало мелькать у меня в глазах, потому что в этот момент она брала меня за руку и согревала ее у себя на груди, и я снова забывал,

что я должен вспомнить о чем-то. "Ну вот, а теперь за работу?" — сказала она, наконец убирая чашки со стола. Я кивнул, восхищенно следя за ней глазами. Она покатила в другой конец комнаты и вернулась с огромным чемоданом, о котором я и думать забыл и видел его как будто впервые в жизни. "С тех пор как моего мужа нет рядом со мной, все держится на моих плечах. Сейчас вы все поймете, — говорила она, выгребая из чемодана груды почтовых конвертов. — Сразу вам скажу: вы не раскаетесь если согласитесь. Это творческая работа. Но главное — благодарная работа, работа, которую не забудут наши потомки. Поясню. Представьте: муж бросил жену. Несчастье, неправда ли? А если муж не хотел бросить жену, но был вынужден? Вдвойне несчастье, как по-вашему? Он был вынужден ее оставить по не зависящим от него обстоятельствам, а она, в свою очередь, не могла к нему присоединиться по тем же обстоятельствам, несмотря на взаимную преданность, верность и любовь. Не мне вам объяснять, правда ведь?" Но я не понял, на что она намекает, и продолжал восхищенно слушать ее. Она перебирала конверты и продолжала: "Я имею в виду жен отъезжающих. Остающихся жен. А он, муж, должен покинуть дом и страну и идти в свою историческую родину. И промедление смерти подобно. Потому что лучше умереть в дороге, чем жить сидя за решеткой. Конечно, везде есть место подвигу, но не везде есть место для вас. И зная, что обратно никто не пустит, что обратно в Россию дороги нет, они, преодолевая человеческие привязанности, вынуждены оставить своих жен: у одной больные родители, у другой больное сердце, у кого государственная секретность. Но письма не знают границ. И по обе стороны железного занавеса сидят люди и пишут друг другу письма, и это почтовое общение становится новой совместной жизнью и позволяет женщине надеяться, что ничего не изменилось, что вот еще немного — и она ляжет в постель к своему мужу, и дети обнимут своего отца, — она поправила халат на груди. — Так вот, наше агентство перед неумо-

лимым фактом невыразимой ненависти к разлуке делает все возможное, чтобы вынужденно оставленная жена приехала к своему мужу, несмотря ни на что, даже несмотря на то, что ее муж уже умер. Да, умер. Мы продолжаем дело его жизни, задача которой — чтобы и он, и жена, и дети, и внуки умерли не в чужой земле, а на своей исторической родине, — и она еще раз поправила халат у себя на груди. — У нас сеть постоянных агентов. Но пока удалось охватить только район Иерусалима. И то не справляемся. Слишком часто умирают в Иерусалиме люди: резкие перемены климата, бомба террориста, депрессия, наконец. Человек делает рывок отъезда, высокий прыжок, отрываясь от собственного прошлого, взлетает высоко в воздух свободы и часто падает на землю, рухнув с высоты обретенной свободы, оставшись без привычных опор. А жены остаются без писем. Мы взяли на себя продолжение переписки. Когда очередной выходец из России умирает, наш агент, связанный ежедневной телефонной связью с похоронным бюро и моргами, немедленно собирает о нем все возможные сведения, начиная от биографических и кончая маленькими интимными привычками, и, если он был одинок и никто больше о нем не знает, он заносится в список наших постоянных корреспондентов. Получив полные сведения о нем от нашего агента вот в таком конверте, мы берем на себя добровольный долг продолжать его переписку с его женой или близкими в России. Это не так невозможно, как кажется поначалу. Мы продолжаем его переписку с женой от его имени, копируя его почерк, коррелируем эти письма с ответами жены, продолжаем писать письма, даже не получая ответа: кто знает работу цензуры и что она задерживает, а что пропускает? Надеюсь, вы почувствовали необычность, трудность, но и необычную почетность этой трудной работы? Умеете ли вы подделывать чужой почерк?" Я кивнул с поспешным энтузиазмом. Еще бы! Чего я был лишен всю свою жизнь, так это собственного почерка. И поэтому с тех пор, как я написал первое слово собственными

ми руками, я вынужден был кому-нибудь подражать. В школе я копировал почерк учительницы. С этого началось: когда мне нужно было написать что-либо от руки, я сначала прикидывал, кто из знакомых мне людей мог бы написать похожее по смыслу, а потом старательно имитировал написанное почерком этого человека. Но, начиная копировать его почерк, я начинал слышать в памяти его интонации и таким образом все, что я ни писал, казалось мне надиктованным чужим голосом. Я как бы за всю свою жизнь не сказал ни одной собственной мысли. И это тоже, наверное, пригодится в этой ответственной работе. Она одобрительно посмотрела на меня, и за этот взгляд одобрения я был готов сделать все. "По вашим глазам вижу, что вы способны до конца войти в жизнь каждого умершего на этой святой земле, каждого, кто свою жизнь пожертвовал идее умереть на своей исторической родине. Итак, не откладывая в долгий ящик, приступим?" И мы приступили. Это было легкое и ясное занятие. Сначала я, изучив содержание конверта, пересланного агентом, экспериментировал на отдельной бумажке с чужим почерком и, натренировавшись в чужих завитушках и росчерках, легко и свободно излагал в письме своей чужой далекой жене ежедневные подробности, перспективы строительства новой жизни, мнения и мысли, признания в вечной любви и клятвы вечной верности. Я наконец почувствовал, что затерялся в этом мире чужих имен, исчез, избавился от собственного имени, избавился от ощущения собственного присутствия. Меня перестала беспокоить моя собственная судьба — эта привязанность, этот кандалный звон в угрожающей последовательности дней, меня перестало пугать, что с каждым днем пропадает нечто, что нет сил протянуть в день сегодняшний и все идет на убыль: меня перестало пугать мое прошлое без будущего и завтрашний день без позавчерашнего, когда сегодняшний день — черная дыра в виске. Я с облегчением понял, что мне не надо протаскивать самого себя через собственную жизнь. Несчастье — это чувство поте-

ри. Мне нечего было терять. Я все свое носил при себе: я распался на чужие письма. И я принимал каждое из них без укора и разочарования: это было мое не мое, немое, дело. Всех на свете обсудить, как самого себя. Самого себя не отделять от всех на свете. Люди из конвертов были разных эпох и поколений, и они существовали для меня одновременно и сразу. Я был счастлив, потому что все вычитанное мною из конвертов, это было услышанное мною уже однажды, это было новое возращение вперед, когда каждый повторит твою судьбу и ты повторишь чужую, но слово судьба — несуществующее слово, потому что переписка не кончалась, и надо было сделать странное легкое усилие, чтобы все вдруг завертелось снова назад с вращением вперед. Когда ты понимаешь, что столкнулся в своей жизни с тем, что считал недоступным пониманию в жизни чужой. Когда ты наконец очутился в чужой шкуре и посмотрел на себя со стороны, плюнул сквозь пальцы и махнул на все рукой. Но для этого надо было совершить прыжок. И, как в перевернутом бинокле, все вдруг поехало обратно, и в тебе я увидел себя и однажды зимней ранью бросил самого себя и сам с собою говорю и в разговоре каждой ночи сама судьба не разберет в этой бесконечной репетиции, где все существует сразу и одновременно, где твое, а где чужое лицо, когда вздрагиваешь от испуга сходства, как будто тебя кто-то окликнул из-за спины по имени, или тебе послышались твои собственные, наши слезы, ваши, наши, их с вами вместе с теми и для меня, и для тебя, и для них. Глаза мои становились влажными от просветленности, когда я представлял себе эту незнакомую родную мне чужую жену: я видел ее всегда сидящей у лампы над моим письмом, прижимающей к глазам платок, а потом радостным голосом зачитывающей это письмо детям и близким. Я потерял чувство времени. Письма двигались легко. В конце концов агентурная информация стала повторяться, биографии умерших и их отношения с женами были в общем одинаковы, и поэтому с некоторого момента

и письма мои стали повторяться, и я как бы сочинял одно и то же письмо, все улучшая и улучшая его в этой бесконечной репетиции. Я снова и снова уходил от позорного исторического соучастия, принося в жертву ежедневную близость, я снова и снова пытался найти в здешней жизни материальные оправдания своему отъезду. Я снова и снова рассматривал свою жизнь как некий бесконечный переходный период к идеалу, и все непоправимые несчастья каждого дня были лишь отдельными нехарактерными случаями в общей оптимистической картине, несущейся чуть впереди протянутой руки. Вставая с постели, моя хозяйка обсуждала со мной написанное, вносила легкие исправления, которые с каждым разом становились все незначительнее, потом брала свой гигантский черный чемодан и уходила собирать новые похоронные извещения. Я не знал наступления ни утра, ни вечера, потому что жалюзи были плотно закрыты и все время горел этот непреходящий свет. Каждый раз закрывая за собой дверь, она шуточно грозилась мне пальцем и говорила, чтобы я чувствовал себя как дома, и это вызывало у меня легкую улыбку, потому что никакого другого дома, кроме этого, я давно не помнил. Я не мог понять единственной ее просьбы: не заходить в соседнюю комнату: эта комната была закрыта дверью, и под дверь был подоткнут тапчечек, так, как это делают, когда на двери нет замка, чтобы она не хлопала от сквозняка. Дверь была расположена как раз напротив стола, за которым я писал письма, и, как назло, все время была у меня перед глазами. Иногда, возбужденный собственным вдохновением, расхаживая вокруг стола, точнее скользя вокруг него, я брался рукой невольно, в неосознанном любопытстве задумавшегося человека, за ручку этой двери, но, вспомнив предупреждение хозяйки, поспешно отдергивал руку. Но, отдернув руку и задумавшись над очередным аргументом в пользу новорожденного человека, мне вдруг казалось, что я должен сейчас вспомнить то, что обещал самому себе забыть, и моя рука снова тянулась к этой

двери. Но каждый раз, когда я уже был готов потянуть дверь на себя, хозяйка возвращалась и, скользнув ко мне, брала меня за руку и вела обратно к столу. В эти моменты неосознанное раздражение подымалось у меня внутри, когда я видел ее высокую расторопную фигуру с чемоданом. Я стыдился этого внутреннего раздражения и внезапного чувства потерянности: ведь она сделала и продолжает делать для меня все, она ведь спасла меня от той опасности, которую я не мог вспомнить, но твердо знал, что она существовала. Она мягко брала меня за руку и усаживала на красную кушетку. В эти моменты я чувствовал внезапное недомогание и головокружение, в то время как она молодела с каждым днем. Я начинал чувствовать острый мучительный голод, и она, скользнув к плите, снова готовила свой фантастический суп, который я был готов проглотить с собственным языком. Он разливался в желудке горячим огнем, который согревал, и веселил, и расслаблял, и я снова погружался в сладкую дрему, и снова я чувствовал ее влажные захватывающие губы на каждом кусочке собственного тела, и внутри все нарастало и наполнялось, пока не оставалось ничего, кроме безудержной необходимости проглотить ее собственным ртом, и мы двигались в одной нарастающей судороге желания перескочить границы собственной кожи, перепутанные и пытающиеся языками высосать каждую каплю собственного сока, пока с последней судорогой, излив друг другу в губы всего себя, я лежал опустошенный и легкий и чистая пена казалась снегом в детстве. Потом она снова приносила кофе, неся турочку в полотенце, чтобы не обжечься, и я, обновленный и изгладив последние следы неосознанного беспокойства, снова принимался с энтузиазмом за сочинение писем. Я приближался к совершенству — эпистолярному совершенству. Однажды она положила передо мной новый адрес. Мое новое имя на этот раз охватывало, казалось, целое поколение людей. Человека звали Теодор Элизер бен Йегурион Трумпельдор. "Наш самый заслуженный клиент, — сказала она своим хриплова-

тым говорком, — и самый любимый", — добавила она со странной улыбкой. Из донесения агента следовало, что он, по специальности акушер, акушером никогда не работал, но всей своей жизнью как бы воплотил идею своей специальности по отношению к своему народу. Еще будучи в России, он стал одним из главных деятелей возрождения языка доисторических предков. Своих предков он знал наизусть, и, считая, что все говорят на языке чьих-нибудь предков, когда к нему обращались на языке не его предков, он притворялся, что не слышит. Так как ни его престарелые родители, ни его жена не говорили на языке своих доисторических родителей, он в конце концов перестал вообще разговаривать в кругу своей семьи: сначала он притворялся, что не слышит, а потом действительно перестал слушать. Он стал объясняться глазами и жестами, а потом покинул семью и жену и переехал в Иерусалим. Так как в Иерусалиме не все говорили на языке своих предков, он понял, что первостепенной проблемой является превращение городского ассимилянта-паразита в пролетария и земледельца, через труд и землю находящего связь с могилами праотцов. Так как не все на это были согласны, он организовал террористическую организацию для отвоевания земли, куда впоследствии будет пересажен ассимилянт-паразит. В России, будучи офицером русской армии, он потерял во время японской войны один глаз и одну ногу, и этот опыт помог ему разработать тактику и стратегию боя, названную в честь его "боем одним глазом с левой ноги". Всю жизнь он разрабатывал проект электрификации гигантской пустыни на юге, чтобы невооруженным глазом даже в темноте было видно, какой край непочтой земли есть у нас для заселения ассимилированными элементами. Его убили при странных обстоятельствах террористы с идеей заселения другими элементами, и на карте можно было отыскать холм его имени. Я с воодушевлением стал продолжать дискуссии с его оставшейся в России женой. Он почти не писал о своей частной жизни, у него ее попросту не

было, потому что всю свою жизнь он отдал идеям электрификации языка и пустыни. "Мы должны стать колесиками и винтиками новой жизни, мы должны гореть на работе, чтобы стать лампочками, освещающими дорогу будущим поколениям, — писал я, наконец поняв самую суть. — Наша жизнь должна быть вся освещена будущим, которое должно выглядеть как та аппетитная морковка, которую вешают перед носом осла, чтобы он не стоял на месте. Потому что ассимилянт-паразит и есть тот упорный осел, блаженно погрязший в собственности, закомплексованный собственным прошлым, нежелающий идти в светлое будущее. Окруженные врагами, мы должны проводить в жизнь принцип "осла и морковки", даже если он противоречит естественному ходу вещей. Ассимилянт-паразит не знает, чего он хочет. Мы должны создать такое идеальное учреждение, построенное на принципах равенства и справедливости, чтобы он забыл о своем индивидуальном прошлом, с которым не построишь этого учреждения. И в этом учреждении будет гореть свет перед которым все равны. Для этого мы не должны останавливаться ни перед какими жертвами. Выбивание почвы из-под ног ассимилянта-паразита должно проводиться с помощью трех основополагающих принципов. Первый принцип — принцип "распределения продуктов питания". Коллективная трапеза, когда каждый видит, что у другого в тарелке, поможет избавиться от нездорового чувства уединения и скупающего мучительного любопытства, что ест другой. Несмотря на толкучку перед началом еды, это поможет также видеть всех как на ладони, по крайней мере, три раза в день. Второй принцип — принцип "коллективного пения": все после еды должны петь хором. Каждому хочется петь, но не у каждого есть слух и голос; коллективное пение хором поможет скрыть это отсутствие слуха и голосовых способностей у большинства. Не страшно, если хор получится нестройным и раздражающим ухо: ведь никто, кроме участников хора, этот хор не будет слушать. И наконец, третий принцип — принцип "публич-

ного изъяснения радости". Каждый должен выражать радость соучастия в строительстве светлого будущего, даже если собственного будущего он не видит. Как только он перестает ощущать радость собственного самопожертвования, он перестает быть гайкой в великой спайке. Принцип "публичного выражения радости" поможет сразу выявить отпавших и сомневающихся, чтобы заняться ими особо. Для четкой работы этого учреждения понадобится целая сеть работников аппарата, чистых и преданных механизму учреждения людей, помогающих каждому найти свой путь к распределению продуктов питания, коллективному пению и публичному выражению чувства радости". Я чувствовал, что нашел слова неразделенности себя с остальным миром. Единственное, что мешало полету моей эпистолярной мысли, это мой почерк. Я как бы стал писать собственным почерком, и он выходил корявым, с дрожащими буквами, иногда перо съезжало и буквы прыгали, я старался переписать, но у меня не получалось. Это был явно старческий почерк, склеротический, но хозяйка сказала, что это как раз то, что нужно, что именно таким почерком писал Теодор Элизер бен Йегурион Трумпельдор свои последние письма. С этого момента она стала задерживаться дома дольше, чем обычно, а потом стала оставаться дома целые дни. Выяснилось, что у нее целый архив с его фотографиями, старые газеты со статьями его и о нем, его открытые письма к друзьям и соратникам. Она стала работать вместе со мной, помогая сочинять мне письмо, зачитывая письма и статьи вслух. Она сидела напротив меня помолодевшая, запахнувшись в халат, с очередным документом в руках, зачитывая мне его в слух. Я, просматривая старые газеты со статьями о нем, каждый раз замечал одну и две акkuratно вырезанные в газетах дыры. "Почему дыры в газетах?" — спросил я однажды. "Ревность, — сказала она покраснев, — ревность и самолюбие. Я считаю, что без этих качеств не может быть настоящего государственного деятеля. Он был ревнив и самолюбив, и, ког-

да кто-нибудь публично говорил что-нибудь отрицательное о нем, он это место аккуратно вырезал. Конечно, это преступление против истории, но ведь мы сами творцы истории. Он был настоящим историком, вот что я вам скажу. Ведь все мы здесь вопреки ходу исторического процесса. Он понимал это буквально. Может быть, это и свело его с ума перед смертью. Ведь и убили его из-за этой мании встать над историей: он последние дни своей жизни ходил с поднятыми вверх руками, а когда его спрашивали почему, он отвечал, что он электрический столб, поддерживающий линию электрификации будущего. Светлый был человек", — закончила она с блестящими от слез глазами. Забытый вопрос мелькал в моей памяти, я почти догадывался, а потом это снова исчезало. "Вы были с ним знакомы?" — наконец спросил я. "Бог ты мой, неужели вам сразу не стало понятно? Он ведь мужем моим был. А я была его женой до конца дней, — спокойно сказала она, невидящим взглядом смотря мимо меня. — Конечно, я сначала не могла простить, что он уехал один, бросив меня однажды ночью, когда я спала. Но я сама была виновата: я ведь была актрисой, моя жизнь была — сцена, грим, маска. А тут он стал говорить на какой-то тарабарщине. Я не понимала тогда, что он — акушер новой жизни, повивальная бабка человечества, беременного нашей нацией. Но он забрасывал меня письмами. Я поняла, что я должна отбросить маску. Хватит лицедействовать и лицемерить на сцене, когда тебя ждет новый, освещенный его электричеством театр жизни. И я приехала к нему. Но поздно: когда я приехала, выяснилось, что за день до этого его убили. Здесь, в этой комнате, недаром все время горит свет: это память о его деле, деле его жизни — светить всегда и везде. Это воодушевляет. Я стала собирать материалы о нем: я их переписываю от руки в специальный альбом, итоговый альбом его жизни. Мне так не хватало его писем, и, переписывая старые письма от него, я как бы заново их получала. Идея нашего агентства пришла мне в голову именно таким путем.

И вот сейчас, когда вы так преданно, отдавая всего себя, выполняете эту работу, мне пришло в голову: не могу ли и я позволить себе снова получать от него письма? Письма оттуда, вы понимаете?" Я начинал все понимать, но не до конца, и забытое чувство головокружения и тошноты вдруг снова заколотило в виски. Она сидела и смотрела на меня невидящим умильным взглядом, и я, пытаюсь рассмотреть ее вновь мутными от дурноты глазами, медленно, очень медленно соображал, стараясь вспомнить, как я оказался наедине с этой полногрудой старухой с замашками несостоявшейся актрисы? Вам ведь знакомо это ощущение: когда вы останавливаетесь и вдруг понимаете, что вы уже были здесь и с вами это уже было. Как будто это уже один раз, по крайней мере, было с вами в другой жизни. Или во сне. Или то, что с вами происходит, происходит во сне, и вы видите свою жизнь, но не знаете, что она вам снится, и пытаетесь понять, как вы снова оказались там, где вас не должно быть. Она глядела как будто со старой фотографии. Я посмотрел на неоконченное мной письмо, написанное корявым разъезжающимся почерком, моим почерком я впервые в жизни писал своим почерком, и вот он каким оказался, этот мой почерк. Я перевел глаза на кучу газет. Потом снова на ее лицо как будто с выцветшей фотографии. Меня снова поразило сходство с уже однажды виденным лицом, но я не мог вспомнить каким, и, может быть, это было ее лицо, но в начале нашего знакомства. В начале знакомства? Значит, было начало? Сколько времени прошло? Какое, милые, тысячелетие на дворе? Это значит я пишу ей письма собственным почерком? Но должна быть зацепка, и все раскрутится. Должна быть зацепка, улика, доказательство, черт возьми, что я это не он, а она — не та. Она достала платок и стала утирать им мокрые глаза и сморкаться, по женски забирая его в кулачки. "Платок! — завертелось в моем мозгу. — Платок!" Вот чего мне не хватало. Я сунул руку в карман: платка, который уже не помню сколько всегда был со мной, этого платка не было.

До меня дошло, что его и не должно быть в этом кармане, потому что это карман халата, длинного до пола халата, разве я всегда носил этот халат? И эти белые "детские чулки? Где моя одежда, моя, а не с чужого плеча? Я скользнул взглядом по комнате, подошел к вешалке, но она была пуста, на ней лишь тоскливо висел ее берет. Я добрался до кушетки и заглянул за спинку. Там было черно и пусто, ничего нельзя было разглядеть в этом освещении. Я сунул руку за спинку и пытался дотянуться до пола; неожиданно легкой щекоткой что-то пробежало по моей руке. Я с отвращением дернул рукой и заметил, как маленький паучок пробежал по спинке и скрылся. Моя ладонь была в паутине, и я с отвращением обтер руку о халат. Тут, оказывается, и пауки. "Что вы ищете?" — спросила она, следя за мной испуганным взглядом. Я не ответил и продолжал молча заглядывать во все углы. Потом стал отодвигать мебель, обнажая запыленные, с паутиной углы, с отвращением бросая один предмет и переходя к другому. Голова у меня кружилась, пол скользил, я чувствовал, что даже эту легкую мебель мне сдвинуть с места стоит громадного напряжения сил. Свет стал давить на глаза. Она с испугом продолжала следить за мной, бормоча в замешательстве. Я стал методически переворачивать все подряд: мебель, кастрюли, отбросил турочку с отломанной ручкой, потом поднял ее и заглянул даже в нее. Там были остатки черного кофе, и еще один маленький паучок выполз и сбежал вниз, и меня чуть не вырвало. В бешенстве я рванул обивку на кушетке, и оттуда бросились врассыпную клопы. Это добило меня окончательно, и с помутневшим взглядом я повернулся к ней и пошел на нее сквозь перевернутую вверх дном комнату. "Что с вами, чего вы ищете, здесь нечего искать", — залепетала она. "Отдайте мой платок", — сухо сказал я, протягивая руку вперед. "Какой платок?" — сказала она, сунув руку с платком в карман халата, улыбаясь и шмыгая носом. "Прекратите это дурное актерство", — сказал я, продолжая протягивать руку. — Вы прекрасно

знаете, какой платок. Вы его у меня украли, он у вас в руках. Отдайте мне мой платок, платок моей жены", — наконец вспомнил я то, что хотел сказать. "Но это мой платок, — сказала она, ничуть не смутившись, и, вынув платок из кармана халата, помахала им в воздухе. — И он всегда был моим. И я, право, не знаю, о какой жене вы говорите? Мне казалось, мы с вами давно женаты?" И она потянулась ко мне. "Отдайте мне то, что вы у меня отняли!" — закричал я и как будто впервые услышал собственный голос. Я рванулся, чтобы выхватить у нее платок, который она, дразня меня как собачку, подняла над головой. Она отъехала в сторону, и я, поскользнувшись, оказался на четвереньках. И тут я заметил дверь в стене, дверь, подоткнутую тапочком, чтобы не хлопала от ветра. Она перехватила мой взгляд, и, когда я, привстав, уже дотянулся до ручки и повернул ее и оставалось только толкнуть дверь или потянуть ее на себя, хозяйка рванула меня за плечи, и я откатился, скользя, в другой конец комнаты. Потом пополз на нее, стараясь выхватить из ее рук платок. Она вывернулась, и мы стали кататься по полу. Она выскальзывала в последний момент, и ее рука, оставленная в сторону, дразнила меня платком. Мое тело уже ныло, как от падений на льду, а она, дразня, отъезжала, и снова дразнила, и хохотала как сумасшедшая. Я начал выбиваться из сил, и вдруг она, рывком опрокинув меня на спину, оказавшись надо мной, навалилась на меня и накрыла мои глаза, мое лицо платком. Знакомый солоноватый запах зашекотал в носу. "Дурачок, ты знаешь сколько лет я тебя ждала?" — услышал я ее задыхающийся шепот, и ее губы стали гулять по моему телу, и пробегать по моей шее, и захватывать подбородок, и стали терзать мои губы. Я не мог поднять головы, которую она, натянув платок, прижимала обеими руками к полу. Ее язык стал вертеться у меня во рту, на секунду она вынула свои губы из моих, и я снова услышал ее сдавленный шепот: "Вот теперь можно, вот теперь самое время, потому что наше время кончается", — и я почувствовал

ее руку, шарящую у меня под халатом, и ее большие полные ноги захватывают мои ноги и подталкивают их вверх под себя. Ее губы снова раздавливали мои губы, и ее напрягшиеся соски терлись о мою грудь, и ее полный живот прижимал меня к полу. Я задышался под навалившейся на мое лицо грудью и губами, когда ее рука скользнула у меня между ног и в ее пальцах, скользящих вверх и вниз, я напрягся, уже не понимая, вопреки моему желанию или не вопреки. "Не спеши, сейчас, не спеши", — бормотала она, покусывая мои губы, и стала насаживаться медленно, наезжая скользящим движением, и я тоже застонал то ли от наслаждения, то ли от последнего унижения. Она стала водить бедрами, и задом, и животом из стороны в сторону, и взад, и вперед, подбирая меня под себя, вжимая меня в себя, вбирая меня в себя, и последним был ее свистящий шепот, обжигающий ухо: "Не вынимай, не вынимай, не вынимай ИЗ КОНВЕРТА". Когда я очнулся, ее не было. Все тело болело и ныло, голова кружилась, и меня подташнивало. Сжав зубы, чтобы унять колотившуюся в висках боль, я приподнял голову и оглядел развороченную комнату: тот же свет, который казался секунду назад пронизывающим и вечным, светил теперь медной подавляющей тусклостью. Не было ни ее, ни ее вещей, не было ее чемодана в углу. Только откуда-то доносились еле слышные, приглушенные вздохи. Может быть, это просто стучало в висках. Я приподнялся, покачиваясь, и пополз к столу. Но пол больше не скользил, и не было этих двоящихся отражений: зеркала как будто погасли. Я добрался до стола и свалился на разодранную кушетку. Лампочка под качающимся абажуром выхватывала из полусумрака на столе белое квадратное пятно. Я прищурился и, взглядевшись близоруким взглядом в пятно, понял, что это почтовый конверт. Потянув его к себе, я с отвращением прочел на нем знакомый штамп: "извещение о смерти". "Выпал, наверное, из этого чертового чемодана", — подумал я и уже по механической привычке вскрыл его. Но внутри оказался

еще один конверт. Когда я вытащил этот конверт в конверте, он оказался заклеенным по-настоящему, и я, повертев его в руках, вдруг охнул, как будто меня ударили под дых: на конверте знакомым почерком был написан московский адрес, адрес моей жены. Еще толком не понимая, не осознавая этого совпадения, я трясущимися руками разорвал конверт, и из него выпал сдвоенный листок, исписанный до черноты. Буквы были мелкие и наезжали друг на друга, и, хотя я был уверен, что они мне очень хорошо знакомы, я потянулся за очками и тут же вспомнил, что я давно их не одевал и вообще не помню, где я их мог оставить, где я мог потерять очки. Я нагнулся ближе к свету и приблизил письмо как можно ближе. "Я теперь все время ношу очки, — с испугом прочел я, и это было явно не начало письма, но уже было не до начала, — не солнечные, а обычные очки от близорукости, и иногда меня охватывает страх, что тебе будет все труднее меня узнать, когда ты приедешь. Тут вообще страх безотчетных изменений, незаметных для самого себя. Страх, что все больше слепнешь от здешнего бешеного настороженного света и от сумасшедшего воздуха: этот воздух наполнен злом этого сумасшедшего двойника, и ты как будто можешь изменить его движением разговора, и поэтому здесь столько сумасшедших, разговаривающих вслух или молчаливо кричащих в воздух, потому что здешнее небо может делать вид, что существует на самом деле: но его значительность существует только в твоих глазах, и поэтому ему так важно твое присутствие и твой взгляд. И растет другое внутреннее зрение, двойное, потому что ты все время, каждую секунду, при любом разговоре и чужом присутствии, ты все здесь, у края глаза, справа от меня. Прямо твое лицо, и я чувствую его теплоту. Как будто мое лицо двоится и переходит в твое. Так видишь лицо человека, стоящего у твоего плеча, когда ты смотришь в другую сторону. Но когда ты приедешь, я буду все время держать тебя за руку, и ты будешь идти с правой стороны, чтобы, повернув голову, я видел твое настоящее лицо.

и твою руку я ни за что не выпущу, я буду идти, держась за твою руку, чтобы ты была моим поводырем, потому что я уже ничего не понимаю без тебя. Мне сегодня снилось, что я чудом проник в Москву и открыл ключом дверь и ты меня встречаешь. Но на твоём лице замешательство и растерянность. И я вижу, что наш дом изменился и у тебя другая жизнь, где мне нет места. Но ты из милости ведешь меня в самую дальнюю комнату, откуда мне нельзя выходить: у меня ведь нет паспорта, я гражданин враждебной державы, я могу навлечь беду на твой дом. И я тихонько устраиваюсь в этой дальней комнате, разрешая себе только выглядывать в окно и видеть знакомые деревья и трубы на горизонте. И я укладываюсь спать, чувствуя себя приживальщиком, старым калекой-родственником, которого держат в доме из милости, не разрешая сказать ни слова”, — последние эти слова расплывались у меня перед глазами, потому что я беззвучно плакал, пытаюсь сжать зубы, чтобы подбородок не трясся, но не мог и продолжал плакать и злиться, что не могу остановить этот плач. Плач по самому себе, который умер, продолжая жить, не зная, что это жизнь на том свете, откуда никогда не попадешь на этот свет и что к самому себе нет возврата, к тому прежнему, который был, а теперешний превратился в ничто, в ничтожество. И расторопный агент заполнил на тебя похоронную карточку и присовокупил к документации оставшиеся от тебя письма. Потому что это было мое письмо. Я взглянул на дату: 19 января 1975 года. Я вспомнил вдруг все от начала и до конца. Это был тот конверт, с которым я вышел из дома в тот злополучный день и так и не опустил его с главпочтамта, встретив эту старуху. "Неужели я в самом деле умер?" — и снова странные вздохи, полуплач, полупшепот как будто подтверждали этот вопрос. Я приподнял голову и стал оглядываться, пытаюсь своим близоруким взглядом углядеть чужое присутствие. Наконец я заметил щелку света у стены. Я различил ее не потому, что в комнате не было света, но это была щелка другого света, не тускло элек-

трического, а того, которому я забыл название. Он пробивался из-под двери в стене, из-под той двери, подоткнутой тапочком, куда мне было запрещено входить. Я снова вспомнил лицо хозяйки, грозящей игриво пальчиком. Зло усмехнувшись, я в два шага оказался у двери и рванул ее с силой на себя. Сноп дневного света ослепил меня, и я, сощурившись, глядел, и глядел, и глядел, пока наконец глаза мои не различили большое знакомое окно, и в окне было знакомое, ничего не требующее небо, и знакомые большие деревья с шелестом листьев, и прочерченный на горизонте контур телебашни. Я уже знал, и понимал, и не сомневался, но все-таки у меня перехватило дыхание, когда перевел взгляд от окна. У стены стояла постель со свисающим одеялом, и одеяло доходило до плеч, до знакомых плеч, до заученного наизусть изгиба лопатки под вырезом ночной рубашки, и растрепанная макушка каштановых волос ждала, когда ее разгладит знакомая ладонь. Она, моя жена, лежала, отвернувшись лицом в смятую подушку, и, полуплача, вздыхала, сжимая в кулачке мокрый платок. Тихонько, чтобы не испугать ее, я на цыпочках, продолжая улыбаться, подошел к постели. Рядом стоял стул, на стуле лежало запечатанное письмо. Я взял письмо и усмехнулся, прочтя на конверте написанное ее почерком свое имя: она все-таки написала мне письмо. На конверт были наклеены две марки: одна с Лениным на фоне электростанции, другая с космонавтами со спутником на орбите. В наше время легче добиться того, чтобы тебя взяли в космонавты и ты будешь летать вокруг планеты, но ты можешь умереть, так и не увидев жены по другую сторону пограничного столба. Разве что придумать такой телескопический перископ на случай железного занавеса? Я присел осторожно на край постели и сунул письмо в карман: письма больше не нужны, и слова даже не нужны, по крайней мере, на бумаге. Слова пишут те пальцы, которым некого ласкать. Я протянул руку и разгладил вихор на ее макушке. "Я здесь", — сказал я. "Я знаю", — сказала она. "Ты меня простила?" — спросил

я. "А ты меня простил?" — спросила она. "Да", — сказал я. "Да", — сказала она. "Я больше никуда не еду, я приехал наконец, дальше ехать некуда", — сказал я. "Но если бы ты не вернулся, я бы приехала к тебе, и мы бы никуда больше не уезжали", — сказала она. "Ехать надо только туда, где остаешься", — сказал я. "И оставаться с тем, с кем готова уехать. Ты был прав во всем, без тебя у меня нет жизни, ты забрал ее вместе с последним стуком двери. Я так и не вставала с постели, и мне казалось, что ты ходишь в кухне, и варишь кофе, и вот позовешь меня, и я проснусь окончательно", — сказала она. Я отогнул одеяло, и ветер, и солнце просвечивали сквозь рубашку, и я нагнулся и коснулся губами шеи у затылка и почувствовал знакомое тепло ее тела. "Сейчас я пойду на кухню и сварю что-нибудь вкусное, а ты не вставай с постели, я подложу тебе подушку под спину, и мы расстелим салфетку на твоих коленях, и ты будешь кушать, а я буду сидеть рядом и рассказывать тебе, как я не мог заснуть оттого, что ушел, так и не починив замок в двери, и ты должна подкладывать под дверь тапочек, чтобы она не хлопала от ветра". Я нагнулся, и приник к ней сзади, и просунул руку под одеяло, и подтянул ее ночную рубашку вверх, и рука прошла по знакомым изгибам, и ладонь наполнилась. Она поежилась под моей рукой и придвинулась ко мне. Сзади скрипнула дверь. "Закрой дверь, вдруг кто-нибудь войдет?" — шепнула она, поворачиваясь ко мне, чтобы потянуться ко мне губами. "Кто же может войти, мы же у себя дома", — сказал я, оглянувшись, и хотел взять ее лицо в ладони. Я увидел ее глаза, которые на секунду доверчиво зажмурились, и на секунду время снова соединилось. Когда я притянул ее лицо к себе, она открыла их снова, и снова я увидел ее заплаканные, красные глаза, но я улыбнулся, потому что знал, что они больше никогда не будут плакать. Но глаза вдруг исказились, сначала в удивленном отвращении, а потом в ужасе; ее руки напряглись, тело откинулось к стене, и руки, вырвавшись, с силой толкнули меня, и я, бес-

помощно взмахнув руками, упал, ударяясь головой, покотившись на пол. Я упал спиной и, глухо стукнувшись затылком, чувствовал, как все поплыло у меня перед глазами, и в ушах прозвенел ее крик, даже визг, сквозь деревья и шум листвы и ветер под синевой вопль ужаса и отвращения, визг застигнутой врасплох женщины: "Не прикасайтесь, мамочка, о господи, не трогайте меня! не трогайте! чудовище!" Я потерял сознание. Я очнулся от холода, меня трясло от холода, пробиравшего все мое тело. Голова раскалывалась. Я привстал и потрогал ладонью затылок: волосы на затылке слиплись. Когда я поднес руку к глазам, пальцы были в крови: затылок, видимо, был разбит до крови. Другая рука сжимала какую-то тряпку, и я стал вытирать об нее руку и тут увидел, что это был платок. Платок моей жены, который я вынул из ее зажатого кулачка. Теперь он был измазан в крови. Слез оказалось недостаточно. В наступавших сумерках я пытался разглядеть место, в котором я очутился. Я лежал в пустом, оставленном людьми, полуразрушенном доме, не дом, а полуразрушенные стены с остовом крыши, а одной стены вообще не было, и через прорехи оконных рам с выбитыми стеклами слышались голоса проходящих по улице людей. Как я попал сюда? Я оглядел самого себя, продолжая держаться за голову, и вдруг краска стыда залила мое лицо: ширинка была расстегнута, и из нее торчал распухший мясистый отросток моего собственного тела. Содрогнувшись, я вскочил и, стыдливо оглядевшись, застегнул штаны. Я, видимо, забрел сюда в полубморочном состоянии справиться нужду и упал, ударившись головой. Порыв ветра шевельнул волосы на голове, и вдруг за спиной я услышал шорох. Мурашки пробежали по спине, и я оглянулся: ключья старых газет шуршали, переворачиваемые порывом ветра между камнями и ключьями мусорной травы. Проведя с облегчением рукой по лицу, я стал выбираться из развалин, когда на одной из стен что-то блеснуло, и, приблизившись, я увидел осколок зеркала, чудом уцелевшего на стене: то ли забытое хозяевами, то ли уце-

левшее после уличных боев. Я не удержался и, приблизив в темнеющем воздухе лицо к зеркальному осколку, отшатнулся, столкнувшись с отражением уродливого старческого лица. Я оглянулся, но за спиной не было никого. Я снова приблизил лицо к осколку, и к моим глазам приблизился уродец старик. "Не может быть", — зашептал я. Я вытащил осколок, отодрав его от стены, и, подойдя к проему окна, еще раз заглянул в отражение. "Зачем же это, за что?" — произнесли трясущиеся старческие губы. Я отбросил осколок зеркала и стал кружить по зданию, переворачивая ногой мусор и прогнившие остатки брошенной рухляди. Наконец в дверном проеме моя нога перевернула стоптанный, изъеденный временем тапочек. "Не может быть", — еще раз прошептал я. Весь кошмар от начала и до конца встал у меня перед глазами. От начала и до конца. И я снова почувствовал, как руки жены толкают меня в грудь, и ее истерический визг "не трогайте меня, чудовище" резанул в ушах, и я чуть снова не упал, но глотнул воздуха и бросился на улицу. Я бежал по улице и заглядывал в лица прохожим, надеясь в их глазах прочесть: заметили ли они, что со мной произошло? Но они оглядывали меня с безразличным любопытством, с каким смотрят на спешащего нелепо человека. И как они могут заметить перемену, когда они не знали, каким я приехал и каким я уеду, и они могли считать, что я приехал только что таким, каким я сейчас выгляжу, а может быть, я стал таким, всю жизнь живя здесь, точнее, всю жизнь здесь умирая? Я остановился перед городским туалетом и нырнул в кафельную нишу. Стоя перед раковиной, я старался не смотреть в зеркало, но тщательно вымыл от крови руки и ссадину на голове. Потом бумажной салфеткой вытер руки и осторожно струйки воды на лице: загоразживая от зеркала глаза салфеткой. Потом отнял салфетку от глаз и, задержав дыхание, долго смотрел на свое отражение. Можете сами взглянуть на эти отвисшие до подбородка губы, на этот нос до подбородка, на эти мешки под глазами на полщечи, на эти слезящиеся

щелочки глаз. Не бойтесь, смотрите: это пока не ваше отражение. Пока. И вдруг я понял, что ведь это мое перемещенное лицо — доказательство моей правоты: вот, что происходит с лицом под маской, которую ОНИ на себя нацепили. Веселая злость убыстряла мои шаги, когда я подошел к знакомому дому своего бывшего друга. У меня на руках доказательства. У меня доказательства на лице. Дверь открыл не он, а его жена. Я хотел с разгона выпалить ей все, что я о ней думаю, но вдруг услышал: "Мы милостыню не подаем". До меня дошло, что ведь для нее я нищий старик, что я ничего не докажу, потому что меня того, которому было что доказывать, уже не существует. И больше никогда не будет. Никогда. Теперь никогда не докажешь, что был человек, которому было важно доказать то, что можно доказать, лишь перестав этим человеком быть. И теперь не докажешь, что нужно было что-то доказывать: исчез свидетель, сам превратившись в обвинение, но превратившись сам в обвинение, он уничтожил единственного свидетеля. Процесс отъезда закрывается за отсутствием улики. Внезапная мысль промелькнула у меня в голове. "Одну секундочку, — обратился я к ней, придерживая рукой дверь. — Я, собственно, заглянул узнать, нет ли у вас адреса моего приятеля по Москве. Он в письмах упоминал вашу фамилию, а потом сменил адрес, я подумал: может, вы знаете? Хотелось бы проведать, поглядеть, как устроился на новом месте". Она подозрительно посмотрела на меня. "Боюсь, я вам ничем не смогу помочь. К нам уже обращалась полиция. Мы обзвонили все морги. Он исчез. Он вообще в последнее время вел странный, мягко говоря, образ жизни. Я давно советовала своему мужу вызвать к нему на дом психиатра. Откровенно говоря, он меня всегда раздражал своими разговорами, темнил мозги. А со вчерашнего дня исчез". Я стал догадываться. "Какое сегодня число, простите?" — осведомился я. "Двадцатое, — сказала она, наморщив лоб. — А что?" — "Какого месяца?" — "Января, конечно!" — "Семьдесят пятого года?" Она посмот-

рела на меня ошарашенно: "Послушайте, у вас что, старческий склероз?" "Всего одна ночь", — пробормотал я. "Простите?" — переспросила она. "Нет-нет, это я само-му себе. Старики, знаете, разговаривают сами с собой. Скажите, нельзя ли увидеть вашего мужа?" Мне хотелось не столько увидеть его, сколько передать ему что-нибудь, какую-нибудь подробность, мелкий предмет, чтобы заявить ему о моем существовании. Я сунул руку в карман пиджака. "К сожалению, мой муж в это время очень занят, он не сможет выйти", — сказала она с натянутой вежливой улыбкой. Я продолжал тоже нелепо улыбаться в ответ, пока моя рука, роющаяся в карманах, не наткнулась на какой-то конверт. Продолжая беспомощно улыбаться, я вынул конверт из кармана: две марки — с космонавтами и с лампочкой Ильича сияли над моей фамилией и адресом на конверте. Она мельком взглянула на конверт. "Но у вас же есть его адрес, по меньшей мере странно, что вы пришли спрашивать его у нас", — недовольно проговорила она и захлопнула дверь у меня перед носом. Постель, и жена с лицом в подушке, и стул рядом с постелью, и конверт на стуле, который я сую в карман, проплыли у меня перед глазами. Я разорвал конверт и вынул лист гербовой бумаги с печатями. "Настоящим извещаем", — прочел я, и дальше, дальше, со словами "скоропостижно", и дальше "сердечная спазма", и "просим сообщить о местонахождении мужа". Я стал спускаться по лестнице, и рвал, и рвал гербовую бумагу на мелкие кусочки, и они летели по лестничной площадке, и подхватывались сквозняком, и кружили в воздухе вверх, и в сторону, и кругами, и были похожи на снег зимним утром, когда я спускался по лестнице, оставив дверь открытой, оставив ее лежащей в пустой комнате. Мне не нужны письменные свидетельства. Мне не нужны шпаргалки моей жизни. Мне нужен живой свидетель. Мне нужен свидетель того меня, который верил, что она жива. Вот я сижу здесь, и вы мне не верите. Мне поверит единственное неприятное существо, которое я могу взять в свидетели

и с которым уже не расстанусь до конца, говоря один и тот же разговор до последней секунды: мне нужно дождаться этой старухи, и я ее схвачу за руку и больше не выпущу. И она придет, она придет, потому что ей тоже некуда деться.

И он откинулся на стуле. Я сидел, полупьяный, и смотрел мимо старика в одну точку: на дверь. В заведении было шумно и душно, и дым стоял коромыслом: сейчас коромысло наклонится, и все завертится и полетит к чертовой бабушке. Вот именно, крутился в моей тяжелой голове пьяный каламбур, с какого момента родина-мать становится чертовой бабушкой? А мы из родных сыновей превращаемся во внучатых племянников? День прошел, я не отправил письма жене, я снова выслушивал еще одни пьяные откровения очередного сумасшедшего, еще один бред, чушь, туфта. Надо срочно протрезветь. И тут дверь открылась. Дверь открылась, и вошла ОНА. Я узнал ее. И нельзя было не узнать беретки, кокетливо сдвинутой набок, и острых коленок, и — чемодана, чемодана, от одного вида которого начинало ныть плечо. Я сидел и ждал, что будет дальше. Сначала вы выслушиваете чужие слова, потом начинаете их повторять, потом начинаете в них верить, а потом начинаете поступать точно так же. Вокруг стало тихо. Все как будто привстали. Она оглядывалась с улыбкой. И все кланялись ей, застыв на месте. Все как будто знали ее как старую почетную гостью. Она стала пробираться к нашему столику. Сейчас она поманит меня рукой и попросит помочь донести чемодан. Но она, поставив чемодан, не обращая на меня внимания, склонилась над стариком. Я пожирал глазами ее лицо, ее фигуру, угадывал ее просторное тело под одеждой, вдыхал запах ее духов. Она посмотрела на меня, покачав укоризненно головой, и уселась напротив рядом с ним.

— Зачем вы его напоили? — вдруг спросила она усталым хриловатым голосом. — И он вам, конечно, успел нарасказать кучу гадостей про меня? Мы его ищем уже сутки. Все морги обзвонили. И не в первый раз.

И опять мертвецки пьян. — Она потрясла его за плечо, и голова, бесчувственно качнувшись, снова упала на грудь. — Да не умер ли он, в самом деле? Недолго он так протянет. И про жену он вам тоже рассказывал? — Я не отвечал, замороженно глядя ей в лицо. — Настоящая трагедия с этими репатриантами. Я добровольно помогаю абсорбции пожилых и немощных. Конечно, человек делает рывок отъезда, совершает прыжок в свободу, но, оставшись без привычных подпорок, часто падает, рухнув с высоты обретенной свободы, вы понимаете? С ним у нас наибольшие трудности. Совершенно не желает сделать над собой усилие и стряхнуть с себя эту эмигрантскую хандру. Его тоже, конечно, можно понять: у него в России осталась жена, тоже старая немощная женщина. Естественно, он комплексует. Но от личных неурядиц надо спасаться в общественно-полезном труде. Наш комитет устроил его разносить письма. Настоящая работа почтальона ему не под силу, письма он разносит как бы фиктивно: по определенным адресам, таким же пожилым репатриантам, как и он сам. Возможно, это наша ошибка: он выслушивает жалобы немощных людей, они делятся друг с другом своими болезненными страхами. — Она прервала сама себя и посмотрела на меня профессионально ощупывающим взглядом. — А вы почему так плохо выглядите? Молодой человек вашего возраста должен самостоятельно преодолевать трудности абсорбции. Мне кажется, вы нерегулярно питаетесь. И засиживаетесь, наверное, допоздна. В вашем возрасте вам необходим четкий режим дня. Если вы не против, могу предложить вам временную работу. И место у меня для жилья найдется. Вы ведь с высшим образованием? Будете переписывать кое-что, редактировать, скромная работа, но почетная. Согласны?

Я смотрел на нее. Я смотрел на старика. Я смотрел на нее и на старика. Я смотрел на нее. Я смотрел и не видел: ни ее, ни старика.

— Я вам не верю, не верю, я не верю вам, слышите? — вдруг выкрикнул я ей в лицо и стал пробираться к выхо-

ду. Когда я выскочил на улицу, все было запружено народом, и машины медленно пробирались сквозь хохочущую толпу, у всех в руках были игрушечные молоточки, и они мелькали в воздухе, шлепая по головам зазевавшихся, издавая жалобный короткий писк. Я стал бежать, бежать и бежать, и единственный страх преследовал меня: что кто-нибудь дотронется этим молоточком до моей головы, и я услышу этот пищущий звук, и тогда со мной случится то, что случилось уже с кем-то до меня, и я стану одним из тех, с кем случается то, что уже с кем-то случилось. Когда я остановился, задыхаясь, у здания главпочтамта, я вспомнил, что так и не отправил письма жене. Я рванул на себя высокую дверь. Она не поддалась. Она была заперта. Было слишком поздно: сегодня был предпраздничный день и почта закрылась раньше обычного.

Иерусалим, 1976

"ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗЭКА"

Ранней осенью 1957 года в сонном и почти пустом вагоне подмосковной электрички незнакомый человек положил мне на колени книгу, обернутую в свежий номер "Вечерки", сказал что-то, из чего я за стуком колес разобрал только "извините... не открывайте... положите в портфель". Так попала ко мне книга Юлия Марголина "Путешествие в страну Зэка". От меня она перешла к одному моему тогдашнему почти другу, ушедшему через пару лет в "князя" (но все же, судя по последующему контексту моей жизни, не предавшему меня), через него еще к кому-то, а лет через десять в одной из тех колоний российских, каждая из которых на советской газетной фене называется "солнечной (А, В, С, Д...N)" , еще один мой добрый знакомый дал мне на ночь в гостиницу ("только не будь идиотом, не забудь в номере, за это паяют") книжку в самодельном картонном переплете, простеганном ближе к корешку сапожной дратвой, — по замысловатой мете, которой я метил имеющиеся у меня самиздатские публикации, я узнал книгу, попавшую столь странным образом ко мне в ту мозглявую ночь "позднего реабилитанса".

Думаю, не ошибусь, если скажу, что "Путешествие в страну Зэка" Юлия Марголина было первой книгой о советских фабриках смерти, которую прочли сравнительно многие в России (книги его предшественника И. Солоневича "Россия в концлагере" и "Бегство из советского рая" дошли в России, насколько я могу судить, только до полок "концлагеря для книг" — спецхрана).

Мне уже довелось писать в предисловии к изданной, увы, по-смертно "Повести тысячелетий" Юлия Борисовича о том впечатлении, которое "Путешествие" оказывало тогда и продолжает оказывать до сих пор на читателей. Не могу понять, почему издательство имени Чехова, выпустившее в 1952 году эту книгу, изъяло из нее три главы, переданные ныне мне для публикации в журнале вдовой писателя д-ром Евой Ефимовной Марголиной-Спектор. Две из них, печатающиеся в этом номере, являются, на мой взгляд, столь же блестящими лагерными новеллами, как и многие другие главы книги.

М. Занд
Иерусалим, июнь 1976 г.



Ю. МАРГОЛИН

В БАНЕ

"Баня для вольных" (в отличие от лагерной бани) находилась по выходе за лагерные ворота, метров 300 направо, по той же стороне единственной улицы поселка Круглица. На разводе мы выходили с бригадой ЦТРМ ("цэтэрэм"), проходили мимо лагерной ограды со сторожевой вышкой на углу (за этим углом вела тропка в карцер), потом переходили железнодорожное полотно. За ним было большое лагерное "овощехранилище". Мы шли, позвякивая котелками. Сергей Юлич, "завбаней", первый входил на ветхое крылечко, отпирал двери, входил в сени, я за ним. Мы вступали в первую комнатку бани, с крошечным оконцем, скамьей и столиком. Одна дверь вела в чулан, другая — в предбанник, где ничего не было, кроме скамей по стенам, а оттуда уже был вход в баню. В бане пахло вечной сыростью и рядом стояли шайки на скамье под окном. Шаек было 14, и почти все текли. В углу стоял на возвышении пузатый деревянный бак на 70 ведер, а рядом еще две "вспомогательные" бочки, куда входило вместе еще 30 ведер.

Наконец, в глубине крошечная дверца вела в помещение с полками, где парились. Первым долгом я брал железный лист и отправлялся через улицу наискось в кузницу ЦТРМ за углем. Тем временем Сергей Юлич заряжал дровами две главные топки: на горячую воду и на пар — и третью маленькую печурку в первой комнате. Топить эти три печи не позволял мне Сергей Юлич: регулировать огонь было его специальностью, и он, как заведующий, отвечал за то, чтобы баня была готова точно к сроку. Пока он затапливал, я наливал 50 ведер в бак. Мое дело было — вода. Воду я брал из колодца во дворе — длинным багром. Вытянув багор, я на весу отцеплял ведро с крюка, широким движением переносил полное, плескавшее ведро через край деревянного сруба, наливал второе — и оба ведра относил по кладке среди огромной лужи к бане. Нести было недалеко, но в самой бане приходилось подыматься по лесенке. Всего было 6 ступеней вверх, я их брал с усилием, с бьющимся сердцем и наверху выливал оба ведра в деревянный желоб, торчавший в стене. По желобу вода стекала в деревянный бак, стоявший в бане. В тот же бак проходили железные трубы из печи. До 300 ведер приходилось мне подымать по этой узкой, крутой лесенке в банные дни. Банных дней было всего три в неделю. По пятницам мылись мужчины, по субботам — стрелки ВОХРА, по воскресеньям — женщины. В эти дни мы тяжело работали. Последние посетители покидали баню часам к 9 вечера, а мы возвращались в барак не раньше 10, когда стрелок выводил ночную смену металлистов и на обратном пути забирал нас "домой". В свободные от бани дни мы занимались заготовкой дров. Под стеной бани всегда стоял длинный штабель поленьев — запас на неделю вперед. Время от времени подвозили нам несколько подвод стволов, и мы их сами резали на метровые поленья. Баня поглощала столько дров, что мы всегда были в страхе: "а вдруг не подвезут? а вдруг дров не хватит?"

Мой принципал, Сергей Юльевич Кнауэр, или, как его все звали "Юлич", был шестидесятилетний аккуратный

старичок, с круглым мягким лицом, на котором еще сохранился след его прошлой благополучной жизни. Это был многолетний директор проволочно-гвоздильного завода в Москве, коренной русский немец, проживший в Москве 30 лет сряду, а до того живший где-то на западной окраине России, около Белостока. Сергей Юлич был душой немец и москвич, великий педант в своем банном деле. Баня была для него святилищем и средоточием жизни, он держал ее в нерусской чистоте, сам мыл пол в бане, сам готовил веники для посетителей, каждого провожал из баньки, кланяясь и спрашивая: "как сегодня банька, хороша?" Стрелки и гражданские, выходя, давали ему за услугу — махорочки на цыгарку. Юлич курил редко, а махорочку собирал и обменивал в лагере на хлеб.

Юлич был доволен, что получил в помощники образованного человека, с которым мог поговорить по душам, по-немецки, и, кроме того, вспомнить старую Москву-матушку. Он прекрасно знал дореволюционную Москву, с ее дружной немецкой колонией, образно мне описывал и "Мартьяныча", и прочие знаменитые московские трактиры и рестораны, объяснял мне растегай, и селянку, и технику чаепития до 7-го пота "с полотенчиком". По рассказам Юлича выходило, что он был образцовым хозяином своего завода, перевыполнял план, получал премии и держался вне политики. Это и оказалось плохо. Нашлись на заводе карьеристы с партийным билетом, которые его оговорили, высидели и унаследовали его место. В НКВД Юлич пережил великое потрясение на первом же допросе, когда обратились к нему на "ты", обложили матерщиной, избили и предъявили чудовищно-нелепое "обвинение". Все это (кроме битья) я знал по собственному опыту и выслушал подобных историй тысячу. Проверить их я не мог, но весь душевный склад Юлича, стариковский, трудолюбиво-мещанский и лояльный, исключал мысль о какой-то вредности или политической опасности. Это был еще один пример бессмысленной жестокости, принципиального пренебрежения к чело-

веку. У старика были взрослые дети и внуки. Жена Юлича была эвакуирована в Среднюю Азию, не имела на жизнь и напрасно добивалась позволения жить с детьми. Три или четыре года он уже сидел в лагере, и главным событием за это время был приезд — накануне войны — на свидание его жены. Здесь, на Круглице, была его жена и рассказала то, чего не могла доверить никакому письму: как она после несчастья ходила к самому Михаилу Ивановичу Калинину просить за мужа. Им обоим казалось, что "быть не может", что это какое-то недоразумение или ошибка власти. Нелегко было добиться аудиенции у "всероссийского старосты", председателя Президиума Верховного Совета СССР, у человека, который воплощал советский гуманизм и человеколюбие. К этому человеколюбцу вошла в кабинет плачущая и дрожащая женщина. После первых слов Калинин вскочил с места. Советский апостол гуманности в золотых очках и с седой бородкой клинышком торопливо спросил женщину: "Где находится ваш муж?" "В Ерцевских лагерях". — "Ах, — заликовал Калинин: — да ведь это чудесно! Это наши наилучшие лагеря! Это просто санаторий! Как я рад за вашего мужа! Ему неплохо там будет! Чудесно, чудесно, чудесно!" — и, схватив за плечо оторопевшую женщину, не давая ей сказать ни слова, подтолкнул к двери и выпроводил в мгновение ока, приговаривая: "чудесно, чудесно, чудесно!" Вся "аудиенция" заняла три минуты...

С тех пор я много раз видел Калинина на экране и на снимках, читал также слащаво-елейные рассуждения этого проповедника пролетарской культуры — и всегда звучал в моих ушах этот рефрен: "чудесно, чудесно, чудесно!"

Стояли прекрасные дни лета, и я был счастлив, что попал на одну из лучших работ в Круглице. Многие завидовали мне. Оба банщика — старший и младший — жили в "аристократическом" бараке АТП, где кроме административно-технического персонала помещаются и повара, и все, кто по условиям работы должен жить в более чистом помещении. Банщики лагерной бани (для зэка) жили

при бане, а мы, имевшие дело с вольными, — в бараке АТП, где было в самом деле чудесно: висели на стене часы с гирькой, и нары были устроены "вагонной системой", то есть не сплошные, а с перерывами, чтобы было просторнее.

На вольной бане была идиллия. Накачав первым делом, сразу по приходе, 50 ведер в бак, я успевал еще сбежать на четверть часа в соседний домик, в контору ЦТРМ, где был радиоприемник. Контора, где заключенные сидели за столами и бумагами, казалась мне, мокрому водоносу, жилищем богов. Я скромно стоял при двери и слушал фронттовую сводку. Если в это время входил кто-нибудь из начальников лагеря или стрелок-конвойный, я моментально уходил, так как я не имел права отлучаться с места работы. Вернувшись, я докладывал Юличу о последних радиоизвестиях. Потом шел пилить дрова, а Сергей Юлич топил, чистил и готовил баню к 2 часам полудни. Напиленные дрова мы кололи вдвоем: устанавливали круглую чурку сантиметров 40 в диаметре, я держал колун, а Юлич ударял по обуху палицей, пока чурка не кололась надвое, а потом на четыре части. От часу до двух нас свистели на дорогу, где уже строилась парами бригада ЦТРМ. Мы шли в лагерь на полдник. Выдавалось по 300 грамм воды, где плавало несколько круп. Пройдя ворота, люди сразу бежали в очередь под окно кухни, но я полдника не брал (чтобы вечером было больше) и сразу шел спать в барак. Без пяти два я уже был на вахте, где понемногу сходилась бригада. Люди сидели на завалинке, на ступеньках вахты, пока не выходил стрелок, командовал "стройся", считал, все ли на лицо, и выводил на работу.

Подходя к бане, мы видели издали с Юlichem, что на крылечке уже сидят с узелками люди. Самый трудный день был женский. Мужчина расходует не более двух шаек воды, моется быстро и, уходя, еще угощает окурком папиросы или махоркой из кисета. Женщины зато приводят с собой семьи, волокут миски, жестяные ванночки, купают ребят, моют волосы, стирают и изводят воды без

счета. Никто не думает о том, что каждое вылитое ведро я немедленно должен восполнить. Две бабы с выводком ребят способны опорожнить полбака. Каждый новый пяток баб на дороге — сигнал тревоги для меня. Сергей Юлич с достойным и услужливым видом располагается в первой комнате за столиком, принимает по 50 копеек с человека, записывает фамилии клиентов в список, а я бегу к колодцу и таскаю ведра. Дело серьезное: если вода в баке опустится ниже уровня раскаленных труб — деревянный бак рассохнется. То и дело завбаней выходит на двор и кричит мне с озабоченным лицом: "сию минуту 20 ведер!" или "еще 30 ведер, духом!" Бак опорожняется мгновенно, и доливаемая вода не успевает нагреться. Через некоторое время несется из бани крик: "вода холодная!" Тут Юлич открывает резерв горячей воды в 2 бочках, которые мы наполнили отдельно на этот случай. Оба банщика мечутся как угорелые. Юлич держит кассу, выдает билеты, записывает, следит за одеждой, чтоб не украли, и топит не переставая обе печки, для чего ему надо выходить из бани, потому что печки топятя снаружи. Самое же главное, ему надо не пропустить проводить уходящих, спросить, довольны ли остались, — и получить при этом махорочки или обещание прислать на вечер супчику... Тем временем я мечусь между колодцем и баней. Иногда несется из бани дружный крик (его слышно через стенку): "довольно лить, переливается!" — но чаще приходится посмотреть самому, что там делается. Сперва я стеснялся входить в женскую баню, но скоро привык к тому, что банщики, как врачи, — не имеют пола. Седой и худой, я был в начале 3-го года заключения сморщен, как Ганди, и все меня звали "дедом", как настоящего деда Юлича. Тесная баня плавала в облаках пара, на деревянном полу стояло озеро. Молодые девчонки отворачивались при виде банщика, но взрослое женское население до такой степени не обращало на меня внимания, что я скоро перестал стесняться при исполнении служебных обязанностей.

Когда я видел, что вода в баке стоит угрожающе холодной и не скоро нагреется, я объявлял на полчаса "Sperrge"

то есть запрет брать воду. Все тогда садились на скамьи и подмостки, на которых стоял бак, и терпеливо ждали. Я поворачивался — в резиновых опорках на босу ногу и подвернутых штанах — и шел качать воду, а Юлич следил, чтобы никто не брал воды. Понятно, когда в бане мылись Гордеева или жена начальника лагпункта, мы из кожи лезли, чтобы не было перебоев. Тут в случае недовольства мы рисковали местом: довольно было одного их слова, чтобы снять нас с работы. Не раз многолюдные семьи вольных, придя в баню и узнав, что "Гордеева моется", уходили, чтобы помочь нам: не создавать в бане затора при начальстве.

Зато в мужские дни — благодать. Выходя из парной бани (парятся, поддавая водой на раскаленные камни), краснорожие, убоготворенные, одеваются стрелки и прочие "вольные", сидят еще некоторое время, выкуривают папироску жестокого "самосада". У нас было нечто вроде щипцов, чтобы подносить уголек прикурить. Я научился ловко хватать щипцами уголек из печки и подавать в предбанник. Юлича все знали в Круглице, и он получал основной доход. Но и мне перепало в иной день с полдюжины окурков и малая толика махорки или самосада, за который давали в лагере талон или кусок хлеба.

Главные доходы банщиков были от соседок-хозяек. Мы работали на поселке среди вольных. То и дело прибегали к нам попросить воды горячей — постирать. Мы не скупались, отпускали казенную воду, а зато днем позже заявлялась в баню курносая босая Глашка или Машка с котелком — "Суп дедушке". Сергей Юлич принимал с благодарностью, переливал в свою посуду и садился кушать. Через 15 минут та же девчонка являлась снова: "Работнику суп!" Это уже была моя порция. Суп нам отдавали тот, которого сами не ели: казенный из столовки. Мы в лагере точно знали, что готовят в столовке для вольных: так же скверно, как для заключенных. Разница была только в карточных продуктах — им полагалось в месяц 5 кило картошки, мясо и жиры, от отсутствия

которых мы погибали. Вольных спасали не эти выдачи, а "индивидуальные огороды": своя картошка и овощи. Суп они себе сами варили, а казенную баланду отдавали иногда банщикам. Для нас каждая ложка варева была важна. Иногда посылали нам немного мелкой картошки, морковку, брюкву, грибов. Из всего этого Сергей Юлич варил замечательный суп.

В 6 часов возвращалась в лагерь бригада ЦТРМ, я забирал посуду на двоих и шел получать обед. Юлич отлучиться не мог, а я с обедом шел к вахте, и там, против правил, пропускали меня с котелками в баню.

Раз в неделю выходил со мной заключенный парикмахер Гриша. При нашей бане он обслуживал раз в неделю вольное население Круглицы. В другие дни вольные приходили в лагерную парикмахерскую, где их брили и стригли вне очереди.

Случалось, что стрелок упрямылся и не пропускал меня обратно в баню. Юлич оставался без обеда и без помощника. Через полчаса наступала катастрофа в бане, и кто-нибудь из моющихся прибегал на вахту с криком: "Пропустите водоноса, баня стала". Я терпеливо сидел с котелками под вахтой и ждал, пока меня кликнут: "Который в очках из бани, проходи!" Съесть обед было у нас время только часов в 9, когда все расходились из бани. Перед уходом надо было баню вымыть и убрать. Наконец при керосиновой лампе (электричество было проведено в баню, но не хватило лампочек) мы ложились на лавки и дремали, пока под крыльцом в темноте не раздавался зов стрелка: "Банщики, выходите!" Это возвращалась в лагерь последняя группа зэка из ЦТРМ. Мы шли гуськом в чернильной темноте осеннего вечера. Улица утупала в непролазной грязи, впереди чернела ограда лагеря, и с лагерной вышки окликал нас голос сторожевого: "Кто идет?"

Сторожевые были нацмены, малорослые казахи или удмурты, с физическими недостатками, из-за которых не взяли их на фронт, и нерусской речью. "Кто идет? Убьем!" — кричал с вышки такой охранник испуганным

голосом, а зэка смеялись, идя мимо. Никак не получалось из этих охранников представителей власти. Скоро и этих угнали на фронт, и сторожить нас стали женщины. Много уже было вдов среди них: из 40 мобилизованных на Круглице было к лету 44-го года убитых 11.

Вольные люди не разговаривали с заключенными на "опасные" темы. Но один раз я подслушал разговор, не предназначенный для моих ушей. Поздним вечером в опустевшей бане шепталось между собой двое последних наших гостей. Они говорили о том, о чем тогда — осенью 1942 года — говорила потихоньку вся Россия: о том, что происходит в оккупированных местностях. Офицер, вернувшийся с финского фронта, рассказывал о том, как он провел 3 дня в районе, занятом финнами. Можно было понять, что он хотел там остаться. Но прежде он хотел посмотреть, что там делается. Он увидел там голод, рабство и виселицы. У финнов не было хлеба, не было теплой одежды; это были не освободители, а беспощадные завоеватели. Через 3 дня офицер вернулся в свою часть.

Этот рассказ дал мне ясный ответ на вопрос, почему нищая колхозная Россия держала фронт и умирала за Политбюро. Не потому, что эти люди хотели коммунизма и диктатуры. Они ее так же хотели, как во времена первой Отечественной войны в 1812 году русские мужики хотели царя и сохранения крепостного права. И не потому, что все недовольные сидели в лагерях. Недовольство вытекает в Советском Союзе из объективных условий, и нельзя его устранить репрессиями. Сажать недовольных в лагеря — все равно, что стричь ногти и волосы, которые всегда отрастают на живом организме. Надо понять, что этим людям рассказывали четверть века страшные вещи о капитализме за границей. То, что они наконец увидели — Европа каннибалов нацизма, — оказалось еще хуже, чем им рассказывали. Величайшее преступление Гитлера в том, что он скомпрометировал Европу в глазах советского народа и не оставил русским людям другого пути, как защищаться от каннибализма. То, что он продемонст-

рировал на оккупированной территории с населением в 70 миллионов, было ничем не лучше, а много хуже, чем советский строй. Это не сразу выяснилось. В первые месяцы Красная Армия колебалась. Целые дивизии и корпуса сдавались в плен, миллионы сложили оружие. Если бы русскому народу — одному из великих, хотя политически отсталых народов мира — дали тогда хлеб, свободу и уважение его национальных и человеческих прав, — он сам бы ликвидировал чудовищный строй, навязанный ему партийным захватом. Офицер из Круглицы сперва посмотрел, что делается за линией фронта, а потом вернулся. Из двух зол он выбрал меньшее. Под Сталинградом и Курском он защищал, конечно, не лагерь и террор НКВД, а свою страну от немцев. Каждый из нас, отвергающих сталинизм, поступил бы точно так же. Система циничной лжи и насилия, существующая в России, не может быть опрокинута нечистыми руками. Население лагерей, отделенное от остальной России, и вся эта Россия, отделенная "Железным Занавесом" от Западной Демократии, нуждаются в помощи извне — не в фашизме, а в подъеме и идейной поддержке Западной Демократии, которая бы убедила русский народ, что ему стоит обменять свой нечеловеческий строй на Демократию Запада. Менять его на гитлеризм явно не стоило. Коммунизм введен в России гражданской войной, и только внутренний переворот в состоянии его уничтожить — при условии, что советскому обществу будет ясно, во имя чего оно восстает. Очевидно, Западная Демократия должна пройти еще большую дорогу развития и самоопределения, чтобы стать понятной и привлекательной для советского человека. Люди в Круглице не знают Западной Демократии и видят ее в кривом зеркале советской пропаганды. Им известны все происходящие на Западе тяжелые безобразия, но не известно основание гражданской свободы, сила индивидуальности и яркая многоцветность жизни на Западе.

Выходя на крылечко бани, мы видели, как шли из леса дети и женщины поселка с полными лукошками

ягод, с ведрами грибов. Продавать они ничего не хотели, а менять на хлеб мы не могли. И, однако, в это лето мы, банщики, тоже попользовались "ненормированными" дарами природы. Мы находились за чертой лагеря и вне бригады: стрелок не мог уследить за нами. Под надзором стрелка было полсотни работников, раскиданных по мастерским и зданиям "ЦТРМ" по обе стороны улицы: тут и склады, и кузня, и токарная, и электростанция, столярня, каптерка, контора. Стрелок редко заглядывал к нам в часы работы. Была невидимая линия вокруг зданий, через которую заключенным нельзя было переходить. Наша "запретная зона" находилась в 50 шагах за баней, там росли лопухи, за лопухами избенка, где жила бедная вдова с детьми, а за избенкой болотистый луг: на луг уже нельзя было ходить. Но луг был близко и порос кустами, за которыми легко было спрятаться. И я скоро стал бегать в лес, благословенный лес, кормивший кругличан без карточки.

Сергей Юлич отпустил меня на час-полтора, сразу после полдника, в небанные дни. Тогда стрелок заваливался спать. Я забирал две стеклянные банки и уходил со двора. Вот и узкая тропка за лопухами, и на ней потемневшая надпись на деревянном щите: "запретная зона". Я шел деловито, весь поглощенный своей задачей. Это не была прогулка для удовольствия. Я не оглядывался на лагерь, который очень красиво выделялся издали на фоне ясного неба. Самолет летел низко-низко на север, в Архангельск. С высоты самолета белые бараки и вышки Круглицы, наверное, были очень живописны. Но я уже наизусть знал этот вид и поля кругом, где проводили дни бригады косарей. Золотистый стрелистый пырей стелился под ноги, иногда попадалась черемуха, черные гляцевитые ягоды которой очень ценились. По лугам был раскидан шиповник; его пурпурные коробочки были особенно вкусны в первые заморозки, в сентябре. Много мы поели этого шиповника, идя с косами и граблями на работу. Все дальше и дальше уходил я от бани. Куманика и брусника попадались на топком лугу, но я не останавливался.

Редко попадался прохожий. От прохожих я уходил в кусты. Меня сразу можно было признать как зэка по виду и как чужого: в Круглицком поселке все вольные знали друг друга. Если бы стрелок поднял тревогу или я бы за зоной напоролся на лагерного начальника — была бы беда: могли бы меня обвинить в попытке бегства. Бежать из лагеря было нетрудно. Во всякой другой стране было бы много случаев побега. Но в Советском Союзе — особые условия. Тут каждый человек и каждый кусок хлеба — нумерован. Некуда бежать и негде спрятаться. Сразу при дороге начиналась малина. Никогда еще в жизни я не видел такого изобилия дикорастущей лесной малины. Бледно-зеленые листья с серебристой изнанкой то и дело попадались на лужайках и в лесной тени. Кусты гнулись под тяжестью спелых рубиновых ягод, всюду светилась малина. Я бросал необобранный куст и переходил к другому, где ветви просто ломались от осыпавшихся ягод. А в траве на деликатных тоненьких стебельках была земляника... Скоро пальцы у меня были красны от сока... Я ел и собирал малину в банки. Пол-литра я приносил Юличу, другие пол-литра оставлял себе на ужин. За два года это были первые ягоды. В лагере за 1/2 литра малины давали 200 грамм хлеба, но я ни разу не обменял ее на хлеб.

Я торопился: времени было немного. Мальчишки, которых я встречал в гуще леса, все были привычны к виду зэка и могли думать, что где-нибудь близко работает моя бригада. Малины хватало на всех. Дети в поселке не голодали летом. И зэка голодали бы меньше, если бы им позволили собирать ягоды. Но об этом никто не думал. Несколько инвалидов собирали в Круглице ягоды и грибы. Ягоды они отдавали в аптекоуправление, а грибы сушили на зиму. Грибы с их 90-процентным содержанием воды были наименее питательным продуктом леса. И то, и другое инвалиды должны были собирать по норме. По возвращении из леса их обыскивали: не спрятали ли они чего-нибудь для себя.

Дни наши были заполнены охотой за пищей. В этой

борьбе за существование были удачи и поражения. Несколько дней мимо бани возил капусту возчик Гаврилюк, добродушный хохол, посаженный в лагерь за нелюбовь к колхозу. Юлич и Гаврилюк сговорились, и раз, когда Гаврилюк ехал мимо, Юлич выслал меня к нему. Я подошел к возу, и Гаврилюк, оглянувшись, скинул с воза кочан капусты. Я его моментально бросил в ведро и принес в баню. Не успели мы спрятать ведро в чуланчик, как следом вошел стрелок. Он, оказывается, прятался за углом и видел всю операцию. "Где спрятали капусту?" Пришлось отдать. Это было большое разочарование. Мне и Гаврилюку угрожал карцер. Я уже приготовился на ночь в домик Гошки, но на этот раз все обошлось благополучно: стрелок, вместо того чтобы сдать кочан капусты на вахту и составить протокол ("акт"), снес его жене домой и смолчал о происшедшем.

В другой раз я пошел в соседнее овощехранилище — за ведром, которое мы туда одолжили. Меня повели в особую землянку, куда был запрещен вход даже своим работникам. Только заведующий входил туда, и сторож сидел при сокровище. Я стал под стеной и вдруг увидел под столом корзинку с чем-то розовым и белым. В сумерках я не мог рассмотреть, что там такое. Заведующий вышел за ведром, а сторож повернулся ко мне спиной. Он сразу что-то почувствовал, быстро обернулся и подозрительно посмотрел на меня. Я невинно стоял у стены. В ту секунду, что сторож стал ко мне спиной, я успел сунуть руку в корзину, набрал полную горсть чего-то липкого, скользкого и положил в карман бушлата. Вернувшись в баню, я обнаружил, что в кармане у меня — куски свежего говяжьего жира: неслыханное богатство. Добычу я сдал Сергею Юличу, и мы в тот день ели необыкновенную похлебку из грибов, жирную и с солью, которая на этот случай нашлась у Сергея Юлича.

1 ноября 1942 года произошло резкое сокращение питания в лагерях. Это было уже не в первый раз, но никогда еще так резко не уменьшали нам выдачи хлеба и каши. Даже порция супа — лагерной баланды — была

уменьшена с 800 грамм до 500. Выдача кашицы сократилась для выполняющих норму в четверо. Началась вторая военная зима в лагерях, где голод и до войны был в порядке вещей. А одновременно моя работа в бане стала гораздо труднее с наступлением холодов. Больше дров поглощали печи, пилить и носить воду приходилось на морозе, и так как в 4 часа уже темнело, то я должен был черпать и таскать ведра в кромешном мраке. Начались осенние ливни и бури. Дождь хлестал часами. Люди теперь охотнее шли в баню из своих холодных домишек и сидели там, как в клубе. Под проливным дождем в мокром и рваном рубище я метался в темноте осенних вечеров от колодца и по лесенке вверх с парой ведер. Утром вода в колодце замерзала, надо было пробивать лед. Ведра срывались с крюков и тонули в колодце — приходилось лезть за ними в колодец. Начались кражи дров. Каждый день, приходя утром, мы видели, что соседи растаскали наваленные нами дрова — в поселке не было достаточно топлива. Мы не успевали пилить. Работа в бане превращалась для меня в кошмар. В единственный месяц — в ноябре 42 года — я лишился сил и превратился в живой труп. На моих глазах начал таять Сергей Юлич, у него ввалились щеки и потухли глаза. Он ко мне привык за 5 месяцев и понимал, что, если пошлют меня на другую черную работу, я не выживу. Но ему надо было думать о собственном спасении. Со мной вдвоем он не мог управиться с работой. Ему нужен был молодой и здоровый работник. После долгих колебаний он наконец решился: сходил вечером к начальнику работ и попросил, чтобы ему назначили другого работника. В конце ноября меня без предупреждения сняли с работы в бане. Трудно передать ужас, с которым я принял это известие. Это был конец. Я не знал, куда мне деваться и где спрятаться. На другой день должны были выгнать меня в открытое поле, в стужу, среди озверевших и озлобленных людей, для которых я не имел лица и которые за малейшее проявление слабости, за неверное движение затоптали бы меня. Утром на разводе я попро-

сился еще на один, последний день в баню — под предлогом, что там остались мои вещи, которые надо забрать. Александр Иванович, начальник работ, позволил мне пойти третьим. Уже другой водонос работал на моем месте. Я пошел в контору "ЦТМ" рядом, где за 5 месяцев привыкли к тому, что я каждое утро приходил слушать радио. Там было двое-трое людей, которые знали меня ближе. Надо было спасти меня. Они пошептались между собой — и предложили мне с завтрашнего дня работать у них чертежником.

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЗНЕЦОВ

В 1942 году жило трое Кузнецовых в Сангородке Круглица, и все — Иваны. О всех не расскажешь. Но об одном, об Иване Александровиче, я хочу рассказать. Это был мой задушевный приятель. И мой рассказ не повредит ему на том свете.

Иван Александрович был много старше меня: в 1942 году ему было 59 лет. Еще год — и ему бы стукнуло 60, и дали бы ему инвалидность 2-ой категории. Старше 60 лет не гонят на работы: они работают по своему желанию. Иван Александрович был довольно крепок. Внешний вид в этом возрасте обманчив, и физическое равновесие неустойчиво. Тело уже не имеет резервов силы. Один толчок — и нет зэка.

Я познакомился с Иваном Александровичем в 9 бараке. Мы с ним сблизились на почве профессиональной: два книжника, два словесника. Я кончил Берлинский университет и был человек западный. Иван Александрович кон-

чил Учительский институт в Воронеже и преподавал еще в царские времена русский язык и литературу. После революции он поселился в Рязанской области, в одной из деревень, где находилась школа 2-ой ступени или "десятилетка". Такие школы, соответствующие нашим гимназиям, не обязательно находятся в городах. Иван Александрович был учителем гимназии в деревне. Был у него брат — врач и сестра — колхозница. О сыне своем Иван Александрович не любил рассказывать и никогда о нем не упоминал, точно и не было его.

Деревня, где он жил безвыездно 20 лет, находилась в районе Лебедяни. Лебедянь — станция железной дороги и городишко Рязанской области, глубочайшая русская провинция в самом сердце центральной России. За всю свою деревенскую жизнь Кузнецов всего один раз съездил в Москву, на какие-то дополнительные учительские летние курсы. Это был человек мирный, провинциальный и нетребовательный. 400 рублей в месяц, скромная комната в деревенском домике его вполне удовлетворяли. Окна комнаты Кузнецова выходили в палисадник. Варила ему сестра-колхозница. Во дворе у сестры были куры и овцы, под окном рос подсолнух. Я подробно расспросил у Ивана Александровича, какой толк от овцы, сколько шерсти, сколько мяса и какой за ней уход. В лагере все такие вещи становятся интересны. Иван Александрович объяснял обстоятельно.

Летом Иван Александрович часто отправлялся за покупками в Лебедянь. Дороги было 16 километров по тракту. Понятно, он разувался, обувь перевешивал через плечо и шел босиком до города, а на окраине снова обувался — по-городскому.

"Возьмешь с собой в город хлеба, в котомку огурцов, молока бутылку и ветчины грамм так 400, — рассказывал Иван Александрович, — и идешь не спеша — приятно!"

У него была манера выговаривать слово "приятно!" сладостно жмурясь и причмокивая мясистыми губами, выпевать это слово с особой интонацией от самого сердца.

Почему такой человек должен был попасть в исправи-

тельно-трудовой лагерь — понять нетрудно. Это был человек старого поколения, а специальность у него оказалась, как назло, — идеологическая: русская словесность! Конечно, Иван Александрович преподавал лояльно и точно по учебникам Наркомпроса, где и Багрицкий, и Маяковский, — но все же это был старый учитель — еще при Николае учил по Сиповскому и Саводнику. Узнав от меня, что я на школьной скамье тоже проходил эти учебники, старик прямо обрадовался. "Что ни говорите, — заметил он, — а тогда были солидные учебники — серьезные!" Разве только под Лебедяню в деревне и мог такой словесник преподавать 20 лет. Но пришло его время, и коммунист заведующий предложил тов. Кузнецову перейти на преподавание физики. Иван Александрович обиделся и наотрез отказался. Но отказываться не полагается. Возник конфликт. Стали на Ивана Александровича смотреть волком. Поговорили с кем следует. Записали Ивана Александровича где следует — обратили внимание. Такой человек в качестве воспитателя сталинской молодежи нетерпим. И в один прекрасный день, ровно за 5 лет до нашей встречи, пришли к нему с обыском. Перерыли книжки и забрали, среди прочего, "Жизнь Христа" Ренана как доказательство клерикального образа мысли: советский педагог, а чем интересуется! И дали 10 лет.

Первый год еще ему посылали посылки от времени до времени. Но при мне Иван Александрович уже не получал посылок. Фатальный 42-й год мы проголодали вместе. Но я был моложе на 20 лет. За мной было всего 2 года советской каторги, а за ним — 5. Наконец, я находил способы тайно подкормиться в лагере сверх положенного по закону, а Ивана Александровича никто не подкармливал. Он крепился сколько мог, но весной 43 года умер от голода.

Нет в этом случае ровно ничего замечательного. Так умирают в лагере, промучившись несколько лет, анонимные ээка, над которыми никто не плачет и о которых никто не помнит. Никто не устраивает показательных процессов по этому поводу и не произносит патетиче-

ских речей. Иван Александрович умер не в Берген-Бельзене и не в Маутхаузене. В том же 1943 году умерли в лагерях НКВД несчетные толпы. Этих миллионов никто не считает, и одно упоминание о них уже считается грубым нарушением такта и неуважением к Советской власти.

Рассказ об Иване Александровиче есть чистейший парадокс, ирония судьбы: всю жизнь прожил в захолустье, умер в лагере, а после смерти повествуют о нем, словно он был важной особой. Но для меня Иван Александрович — очень важная особа. Это человек не выдуманный, а настоящий, и таких, как он, погибло и еще погибнет в лагерях советских и несоветских, но главным образом советских — несчитанные миллионы. Организация Объединенных Наций, Лига Защиты Прав Человека, международный контроль не занимаются такими пустяками, которые целиком предоставлены ведению советского НКВД. "Человек — это звучит гордо" — это пышное изречение Максима Горького относится к человеку с большой буквы. Иван же Александрович был человек с маленькой буквы, и рассказать о нем следует не для того, чтобы разжалобить читателя, а чтобы он знал цену высоких слов и агитационных плакатов, даже когда они подписаны мировыми именами.

Близость со мной имела для Кузнецова одно неприятное следствие. Все его стали считать евреем. С отстающими ушами и лысым лбом, с крупным носом и толстыми губами, он и в самом деле походил на еврея, но никто не обратил бы на это внимания, пока он не стал лазить ко мне на верхнюю нару. Мы были вместе — два сапога пара: оба тощие, оба в очках, перевязанных веревочкой, оба по три недели небритые, оба "ученые", оба представляли ненавистный в лагере тип беспомощного интеллигента, оба не ругались никогда. Немудрено, что меня с ним путали, и Кузнецова скоро произвели в евреи, на что он только улыбался, махал рукой, но не спорил. При всем внешнем сходстве только русские, лишённые расового чутья, могли считать Кузнецова евреем. Никакой еврей не нашел бы в этом костистом с желваками лице, в манере говорить

и держаться ничего семитского. Я ценил в Кузнецове мягкость характера, архаическую вежливость и самообладание: никогда он не раздражался, и ни разу я не слышал из его уст грубого слова. Этот всеми оставленный и забытый старик имел в себе соединение педантизма и потребности притулиться к кому-нибудь и порассуждать на необыкновенные темы. Неукоснительный лагерный педантизм выражался в том, что у него всегда был запас всяких веревочек, и каждая веревочка на месте, и каждая дырочка сразу заплатана, над нарой несчетные гвоздики, и отдельно развешаны тряпочки: одна — очки вытирать, другая — нос, а третья — полотенце, четвертая — пыль сметать, пятая — шею повязывать, а отдельно мешочек с иглой и ниткой, отдельно пуговицы. В игле он мне не отказывал, но я сам старался не одалживать, видя, что это для него — большое беспокойство и нарушение порядка. Единственный же раз, когда я ее одолжил, я ее потерял, — и много было волнений, пока я достал у Галины Михайловны для него другую иголку. Читать ему уже было трудно, но зато мы разговаривали. Вечером после работы или с утра в нерабочий день Иван Александрович начинал мне сигнализировать со своего места на верхней наре у противоположной стены, помахивал рукой и запрашивал знаками: "Можно ли в гости?" Потом влезал, располагался полулежа, и начиналась беседа.

У Ивана Александровича было своеобразное направление мыслей, и я никогда не мог предвидеть, какой вопрос он мне задаст. "Юлий Борисович, — начинал он баском, с видом заговорщика и сообщника, — мне нужно ваше просвещенное мнение по важному вопросу: совместим ли мистицизм с христианством?"

В другой раз мы разговаривали о "патристике", и, чтоб удовлетворить его любопытство, я должен был собрать из углов памяти все крохи моих студенческих знаний и сведений об отцах церкви. В третий раз Иван Александрович спросил меня, что я думаю об изречении: "Мне отмщение и Аз воздам".

Все эти разговоры имели форму монологов. Я — до

ареста и прибытия в Россию человек, скорее, молчаливый — начал в лагере ощущать болезненную потребность говорить вслух, от которой так и не вылезал до самого конца моего приключения. Боюсь, что и эта книга представляет собой не что иное, как конечную фазу и заключение лагерной потребности. Иван Александрович слушал торжественно, как старый меломан, которому преподнесли... 10 симфонию Бетховена. Оказалось, что в библиотеке под Лебедянью он хранил полное собрание сочинений Д.С. Мережковского. О Мережковском он отзывался с глубоким уважением — это был его *maitre* и духовный руководитель. Я в гимназические годы тоже читал немало Мережковского. Было о чем поговорить. Затем обсуждались военные новости. В области политики я всегда просил Ивана Александровича быть сугубо осторожным. Советское правительство называлось в нашем условном шифре "Ватикан". "Ватикан-то наш, — говорил с огорчением старый учитель, — все при своем держится. Дадут они нам после войны передохнуть немного, как вы думаете?" Как и все русские люди, Кузнецов не сомневался, что Гитлера побьют. "Держится ли Ватикан?" — этот вопрос относился исключительно к внутреннему режиму диктатуры. Я утешал его, что после войны многое изменится в этом смысле к лучшему. Но Иван Александрович не предавался иллюзиям. "Вряд ли мы доживем, — говорил он, — да и не верится что-то, глядя на наших дикообразов...". Тут я смотрел на него укоризненно, и он поправлялся: "Извините, я хотел сказать "Ватикан".

Я старался его ободрить и рисовал ему чудесную картину. Война кончена. Демократия победила. Народы и царства входят в свои берега. Освободив поляков, литовцев, латышей, эстонцев, румын, французов и прочих, Красная Армия со славой возвращается в свои пределы, не желая ничего чужого. Народы всего мира благодарны. Советский Союз открывает новую эру мира в международных отношениях. Теперь уже советским гражданам, в особенности таким, как Иван Александрович, старшего воз-

раста, можно посещать за границу. Я приглашаю Ивана Александровича к себе в Палестину. "А деньги откуда? — спрашивает пугливо и недоверчиво Иван Александрович. — Морем-то через Константинополь и Грецию ехать — это денег уйма!" Но я рукой отметал это препятствие, как незначительное, и обещал прислать и шифскарту, и денег на проезд. Тут старик сдавался и разнеживался, а я ему живописал рай на земле: Иерусалим, и Вифлеем, и апельсиновые рощи в приморских долинах...

Отсюда мы переходили к разговорам на гастрономически-бытовые темы. Иван Александрович, например, задавал мне такой вопрос: что такое шницель? Об этом блюде он знал только из книг. Это меня не удивляло. Советские люди, с которыми мы жили в лагере — а все заключенные в нем были, конечно, люди советские, и полицейская дисквалификация ничего в этом факте не меняла, — все они интересовались не демократическими свободами и политическими идеями Запада, а тем, как зарабатывают, как одеваются и едят. Я должен был рассказывать Ивану Александровичу, как у меня накрывали к столу утром, из чего состоял завтрак и обед, и мое бывшее скромное существование в городской квартире из 3-х комнат преображалось в этих рассказах в волшебный эпос. Молоко, которое с утра само появлялось под дверью, телефонный звонок, по которому продукты из лавки в том же доме доставлялись на кухню — без стояния в очереди, — или чудо газовой печи в ванной комнате — все это мой собеседник воспринимал с волнением, со вздохом: "Пожить бы так хоть с месяц". Мы дошли с Иваном Александровичем до того, что тосковали, как дети, не по лучшим временам, "когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся", — а, просто-напросто, по теплomu ватерклозету в коридоре, где стенки выложены кафелем, а сбоку висит эта смешная катушка бумаги с зеркальцем. Услышав про зеркальце, Иван Александрович смеялся от всего сердца, открыв беззубый рот, и лицом был до странности похож на верблюда. Понятно, посторонние не допускались к этим секретным беседам.

С посторонними мы никогда не были уверены, чем кончится разговор. Когда я сказал ленинградскому повару Иванову, человеку серьезному и солидному, что за гарнией после обеда подают кофе, ликер и сыр, повар вдруг рассердился не на шутку: "Сыр! — обиделся он. — Сыр? Вы что, меня за дурака считаете?" Иван Александрович зато имел ко мне полное доверие и слушал с увлечением, что бы я ни рассказывал.

Однако если во время беседы — все равно о гностицизме или о шницеле — проносилась по бараку весть, что под окном кухни выдают добавку, Иван Александрович сразу переставал слушать, обрывал разговор на полуслове, торопливо бормотал: "...извините, я сейчас..." — и срывался с нары прочь. Слова не выдерживали конкуренции супа. Все наши разговоры и мудрость веков, всю дружбу и сердечность он бы, конечно, отдал за кружку супа не задумываясь. Тут и сравнивать было нечего. Я как-то попросил Ивана Александровича перед выходом на работу получить на кухне и для меня завтрак. Это часто практиковалось: соседи ходили в очередь попеременно получать на двоих, чтобы не стоять на морозе обоим. Иван Александрович взял с готовностью мой котелок и талон и отправился в очередь. Увы! Он не смог совладать с искушением. По дороге он "споткнулся" и вылил половину моего супа. Вылилось все густое, и осталась только вода. Я оторопел, но не обиделся: мы были в лагере. И уже больше никогда не поручал ему получать за меня суп.

Вот идет от окошка кухни Мария Францевна, старуха с благообразным и строгим, внушающим уважение лицом. Это русская немка — умница и человек большой культуры. На воле у нее внуки, в прошлом красивая и содержательная жизнь. Поговорить с ней — удовольствие, и мы все оказываем Марии Францевне почет. Она живет при стационаре, там убирает и ведет хозяйство, обслуживает женщин-врачей, которые ее "поддерживают". Теперь она несет этим врачам котелки с обедом. Несет бережно, мелким старческим шагом, чтоб не пролить. Зашла за

угол барака, но не знает, что я за ней слежу. Останавливается, вынимает деревянную ложку. Боязливо оглядывается, приоткрывает чужой котелок... и я отворачиваюсь в сторону, чтобы не смотреть. Бедная старая бабушка! Голод сильнее достоинства. Не ей надо стыдиться, а людям, которые довели ее до такого состояния.

Существует специфическая лагерная прожорливость: когда тело разбито, единственное доступное сексуальное наслаждение доставляет еда. Вскоре голод довел нас до того, что мы стали искусственно продолжать, растягивать, размазывать процесс приема пищи. Нормально можно было съесть в 5 минут. Мы ели час, два часа. Ставили котелки на угли в печке барака (какая очередь и давка перед печкой!), рукавицей доставали разожженный до красна котелок и несли к столу посреди барака. В котелке все было разом: литр лагерной баланды, черпачок кашицы, мясная "тютелька" или кусок рыбы. Крошили туда же кусок хлеба, и он, развариваясь, давал густой белый навар. Если был "цынготный", в виде 200 грамм сдобренных постным маслом овощей (брюква, капуста, турнепс), то и цынготный шел туда же, и все-таки еще было мало. Мы доливали воды, пока 2-литровый котелок был полон. Надо было видеть, как Иван Александрович приступал к священнодействию над котелком. В этот момент лицо его не было лицом нормального человека: оно было полно сосредоточенного и тусклого огня, оно трепетало от болезненного возбуждения. Он старался продлить как можно дольше наслаждение едой. Он не ел, а забавлялся, играл едой, он гладил ложкой поверхность варева, подбирал на ложку кусочки и ронял, набирал полную ложку и отливал половину, чтобы не сразу съесть, чтоб не вернуться слишком быстро в то безнадежно-голодное состояние, в котором мы пребывали в промежутках от одного ужина до другого. Ему было просто жалко уничтожить это богатство, руки у него дрожали, тягостно было смотреть на это старческое сладострастие, на влажные чувственные губы, на бессмысленным туманом подернутые глаза. Теперь уже с ним нельзя было разго-

варивать! Он не слышал, не отвечал, сердился, что отвлекают его в такую минуту. По мере того как котелок пустел, он начинал явно тосковать, огорчаться... вот и конец уже. И съев, все еще не мог успокоиться: набирал в миску горячей воды, крошил в нее остаток хлеба. И когда все уже было кончено — до последней крошки, — еще сидел некоторое время ошеломленный, с видом какого-то горестного изумления на костлявом худом лице.

Иван Александрович был мне нужен. В его приветливом и сердечном стариковском обществе я отдыхал, вспоминал старые времена и даже, злоупотребляя его мягкостью, — превращался в тирана, командовал над ним и навязывал ему свои мысли и настроения. Мы с ним, как сказано было, были два сапога пара. Естественно, поэтому, что на сельхозе, где мы весной встретились в одной бригаде, мы стали вместе работать: таскали носилки с землей на засыпку парниковых ям. Это была мирная работа: шлепали по грязи, земля осыпалась с плоских носилок. А нагружали по очереди: каждый по 5 носилок. Отнеся 20 носилок, садились отдыхать, выбрав уголок, где начальство не видит. Так мы жили мирно, пока не поссорились.

Случилось это так: я свой хлеб съедал не сразу, а делил на 2 части. Главную вечернюю часть я прятал в сундучок, стоявший на наре в головах. Сундучок не запирался, но я его так опутал веревочкой, что приоткрыть сразу нельзя было. С некоторого времени я стал замечать, что моя порция хлеба странно изменялась между утром и вечером. Утром она выглядела довольно квадратно, увелисисто, как полагается на 300 грамм, а вечером, когда я ее ел, — она казалась странно легкой, высушенной, похудевшей. Я просто не узнавал ее. Трудно было подозревать Ивана Александровича в том, что он подбирается к моему хлебу, тем более что лежал он не совсем рядом, а через одно место. Но в конце концов сосед-наблюдатель донес, чем занимается Иван Александрович в мое отсутствие: достает напрактикованной рукой мою "пайку" и ножич-

ком аккуратно срезывает с нее ломтик — не очень толстый, чтобы не было заметно.

Я был горько обижен на Ивана Александровича, но все откладывал объяснение с ним, пока не случилась крупная неприятность: Иван Александрович не мог удержаться — и съел сразу всю мою пайку.

Это надо понять: сперва он срезал один тонкий кусочек сверху. И съел, лежа на боку, в полумраке верхней нары. Съел с угрызениями совести, с сокращением сердца. Потом подобрал крошки на подушке. Тем временем хлеб лежит, и Иван Александрович ясно видит, что он немного ошибся: отрезал слишком уж благородно. Можно бы еще немного отрезать. Отрезает второй раз и — о ужас! — на этот раз слишком много. Нельзя не заметить!.. Теперь уж неизбежно Марголин подымет шум: кто трогал пайку? Слюна собирается во рту грешника, и вдруг ему становится все равно: съесть, что осталось, — и концы в воду! Семь бед — один ответ. Все равно пайка изуродована. Один головокружительный момент, одно движение руки и — прыжок в пропасть: будь что будет. Каждый грамм лишнего хлеба, украденный у судьбы, вопреки закону, вопреки норме вечного голода, — вдвойне вкусен. Как это хорошо — целых 300 грамм! Не просто хорошо, а, как Иван Александрович говорит, "приятно!".

На следующий день на работе, когда носили 15-е носилки, я буркнул в спину напарнику:

"Иван Александрович, признайся: ты хлеб съел?" Иван Александрович поднял плечи и зашагал быстрее. Мы донесли носилки, вывернули их в яму, и я увидел его виноватое, сконфуженное лицо. Не занимаясь упреками (дело лагерное), я предъявил требование: хлеб он мне обязан вернуть. Умел воровать — умей отдавать. И рассрочка: по 100 грамм ежедневно.

Это было с моей стороны безрассудной жестокостью. Как будто Иван Александрович мог сам, своей собственной рукой, отдать часть своей голодной пайки. Легче было бы ему выкроить кусок из собственного тела. Как раз на другой день у него была большая "ударная" пайка:

700 грамм. Он съел ее немедленно, как только получил, — из страха, что я приду отбирать свой долг.

Тогда, на третий день, я выждал, пока он сел к столу, над дымящимся своим котелком, а пайка лежала перед ним, как кулич в Светлое Христово Воскресенье. Я кипел от негодования. Я готов был проглотить его самого.

"Иван Александрович! Будешь хлеб отдавать?"

А он, побледнев, но решительно и бесповоротно:

"Нет-с!.. Я никак не могу хлеба отдавать... никак не могу..."

Я, не долго думая, взял его пайку. Но он схватил ее мгновенно со своей стороны, и схватил крепко. Мы оба стали рвать хлеб из рук друг друга. Все кругом столпились, загоготали, но не вмешивались. Пусть дерутся приятели!

Я почувствовал, что эта несчастная пайка превращается в бесформенный мякиш, крошится и гибнет в наших руках, но Иван Александрович, с испуганным лицом, молча, ни слова не произнося, всеми десятью пальцами впился в нее. Вдруг я почувствовал его немое отчаяние и отступился от хлеба. Я был вне себя от злобы, и я осрамил его пред всем бараком — назвал его вором и разными поносными словами, даже Иудушкой Головлевым.

И с тех пор — дружба врозь. Я перестал на него смотреть, разговаривать с ним. Я был оскорблен не тем, что он съел мой хлеб, а его последующим поведением, нежеланием расплатиться со мной. Я меньше был бы строг к бедному Ивану Александровичу, если бы знал, что он тогда уже умирал, уже дошел до той крайней черты, когда люди уже не владеют собой при виде хлеба. Но я думал только о себе.

Я и сам порядочно одичал к тому времени, опустился как физически, так и морально. Потом мне повезло, и меня приняли жить в барак АТП, в среду лагерных аристократов. Зимой Иван Александрович начал снова заговаривать со мной, предложил мир, и мы понемножку снова сблизились.

Иногда вечером он заходил в барак АТП. Этот барак,

по сравнению с рабочими бараками, казался жилищем богов. Дневальный грубо окликал с порога: "Куда лезешь?" Старик робко показывал в мою сторону и пробирался к моей наре, у самой печки в углу. Он стоял, держась за столбик, и смотрел вверх, а я сверху вниз, наклонившись лицом, разговаривал с ним. Спуститься с верхней нары для гостя мне уже было трудно. Мы оба страшно ослабели. Иван Александрович весь осунулся и посерел, выглядел, как куций заяц. Все на него фукали и на меня тоже — зачем ко мне всякая шваль шляется, в грязных чунях и лохмотьях...

В январе 1943 года Кузнецов отказался выходить на работу. У него окончательно иссякли силы. Его 3 дня продержали в карцере, потом присмотрелись поближе и положили в больницу. Там наконец его активировали, то есть признали официально негодным к работе. Выйдя из больницы, он залег на нару со своим инвалидским пайком в 400 грамм, на котором жить невозможно, перестал вставать — наслаждался "отдыхом". Дней 10 он лежал, отдыхал так радикально, что даже перестал вставать за едой. Соседи ему приносили хлеб и суп, а потом сообщили в Санчасть. Его вторично забрали в стационар, откуда ему уже не суждено было выйти живым.

Лишний черпак каши и кусок хлеба поддержали бы его — но, если бы советское государство кормило заключенных по их потребностям, а не по своим расчетам, оно бы обанкротилось, ему пришлось бы распустить миллионы ээка. Таким образом, чтоб мог существовать Советский Союз, отель "Москва", самое роскошное метро мира, "Дворец Советов" и самая огромная армия принудительного труда в истории, Иван Александрович Кузнецов должен был умереть, негласно и дискретно, на 6-м году пребывания в лагере от истощения, вызванного длительным недоеданием. В это время я лежал в соседнем стационаре в состоянии, весьма близком к тому, в котором находился перед смертью Кузнецов. Выйдя и узнав, что его нет в живых, я вспомнил, что у меня записан его адрес: "Рязанская область, Лебедянский район. Сельсовет такой-

то..." Я хотел написать его семье. Но мне сказали, что сообщения такого рода не допускаются. Лагерь — не действующая армия, откуда сообщения о потерях приходят на частные адреса. Списки погибших не публикуются, и статистика по этому поводу составляет государственную тайну.

Кузнецова свезли на 72-й. Так называлось лагерное кладбище на 72-м квадрате, 2 или 3 километра от Круглицы. У нас не говорили "подохнешь", а — "пойдешь на 72-й". В один из осенних дней, не помню уж которого года, попал и я на 72-й.

Понадобилось спешно выкопать могилу для нескольких человек. Комендант отобрал себе на разводе 4 человека, но не сказал, для какой цели требуются люди, а посулил "легкую работу" на 2 часа. После развода мы еще с час сидели на завалинке у вахты. Потом пришел помощник коменданта, бросил каждому по лопате, и мы пошли. Но он повел нас в противоположную сторону от места, где обычно работали заключенные. Пошли без конвоя. Мы еле поспевали за ним по топкой лесной дороге. В некоторых местах она была залита водой, в других местах он перепрыгивал через широкие канавы, но мы уже не могли прыгать, как здоровый помкомеданта. Прежде чем мы добрались, мы промокли и выбились из сил.

Серый унылый осенний дождик моросил на полянку, окаймленную дрожащими осинками, мокрыми березками, а посредине была желтая скользкая слякоть. Это и был 72-й квадрат, место вечного успокоения. В одном углу он велел нам рыть яму на метр глубины. Постоял, свернул из газетной бумаги цыгарку и пошел. Мы остались сами.

Земля вокруг нас была в рытвинах, но не было ни холмиков, ни крестов, ни столбиков. Прямо из земли торчали тут и там какие-то кривые палки, небрежно воткнутые в землю. На палках прибиты были деревянные "бирки", то есть маленькие дощечки с номерами, выведенными химическими чернилами. Это было все, что осталось от покойных: безымянный гроб с номером, поставленным

для сведения лагерной администрации. Несколько палок торчало из земли, остальные валялись на земле и потонули в слякоти вместе с бирками и номерами. На Круглице был только один гроб, служивший для перевозок. Трупы закапывались голыми, по нескольку в одной могиле, а ящик привозили обратно. Могила находила на могилу — и через некоторое время братски перемешивались кости.

Мысль о том, что и я здесь лягу — и никогда не узнает ни одна живая душа ни о месте, ни об обстоятельствах моей смерти, — пришла мне с ясностью. Из четырех эзка, копавших могилу, трое до конца года легли в эту землю. По мере того как мы копали, яма наполнялась водой. Лопаты не годились, грунт был тяжелый. Мы копали по 2 на смену. Я с трудом держался на ногах. Несколько минут работы — и сердце останавливалось. Мы, копавшие, были полупокойниками, и я не мог опомниться от удивления, что я копаю другую могилу, а не наоборот. Я вспоминал тех здоровых и рослых людей, которых здесь закопали за истекшие месяцы, и не мог понять, как случилось, что я пережил их и стоял на их костях с тупой лопатой, дрожа от холода, под унылым осенним дождем, в "чете-зе", так густо облепленных глиной, что ноги не подымались.

Помкомеданта пришел в 4 часа пополудни и плюнул, увидев, что работа не сделана. Могила не была готова. Минут пять он смотрел, как мы лопатами тычем в грунт, и скомандовал решительно: "Собирайся!" Пройдя через вахту, помкомеданта повернул нас в амбулаторию: к врачу. Мы не сразу сообразили, в чем дело. Оказалось, что помкомеданта требует записки врача о том, что мы по физическому состоянию не годимся копать могилы. Либо такую записку, либо — в карцер за невыполнение задания.

На мое счастье, дежурным врачом оказался Максик. Увидев меня в роли гробокопателя, он широко раскрыл свои выпуклые светлоресчатые глаза. Потом с официальным видом осмотрел всех четырех "отказчиков". Двоим

он выписал требуемую записку. Меня и еще одного отпустили в барак. Двух других отвели в карцер.

Если бы не вмешательство Максика, я бы не отделался так легко от этой работы.

ПОЭЗИЯ



Леонид ИОФФЕ

ВНОВЬ КАК ЗАНОВО

Лечь навзничь вечером, когда синеет снег,
лечь навзничь вечером, когда желтеет сумрак
от свеч, и — крики, словно шрамы тишине,
наносит голосом капризный полудурок.

И так тягуче ощущение вины
слепца перед далекими и близкими,
что остается только царственно выискивать
резоны в чопорных затеях вышины.

Мрут опереточные охи взаперти.
Я скорчу дух, чтобы грудные взвыли кости,
и лягу преданно, как пес, около просьбы:
прости далекая и близкая прости.

1967

ГРАЖДАНСКОЕ

От родины предостерег
нас до рождения Господь,
чтоб карий взор,
как ржавый гвоздь,
чужое небо скреб.

И чары горные стогов,
нас обволакивая, ждут,
как мы начнем
свою любовь
терзать на там и тут.

Нет! посох тужит об одном:
под высью Палестины
как продержаться языком
на русском карантине.

Кому — смирения позор.
Кому — пайковый ордер.
С ножом кремневым — на топор!
чтоб раб раба не горбил.

Эх, боль решить бы вороньем
да кремнем, обрекающим
на вечный спазм, на личный дерн
надгробия товарищей.

1968

Округа щедрая. Шатрообразный верх,
струящий дарственное бедствие ночами,
астральной тяжестью нам страхи назначает
и проворачивается на плечах у всех.

И зарождается вращательная связь,
осуществляемая, копиями сверхжесткими,
связь предводителя с его оруженосцами
под звездной тяжестью, что зиждется на нас.

Но жест вселенского ослушника прекрасен:
еще он пыжится над грозной немотой,
еще предсмертием своим распоряжается,
в любовь с поверхностью вступая шаровой,

где напряженье стольких волей кует пощаду,
где наш единственный, наш бедственный шатер,
едва проснувшись, от востока позлащается
и жутко бодрствует, живой наперекор.

1969

1

Ты неотчетливостью бед,
ты воздухом обеспокоен —
роптала порченая ветвь
на свой же корень

грозит ли воздуху обвал
я буду смята —
гадала хрупкая судьба
про бунт пощады

и разворачивался тракт,
мощенный блекло,
а время злобствовало так,
что шло и меркло.

2

Я буду злобствовать над этим корнем смерти,
который жизнь мою вознес, чтоб я предстал

как ветвь, не помнящая рода и ствола,
с отягощёнными скорбей на междометиях,
с упреком воздуху, чей остов светловат.

1969

Я вновь, как заново, собою был объят,
опять, как внове, задвигался на засовы,
и был потом я расположен вне тебя,
а был я тот, кто расположен вне любого,

ведь нес я братьям челобитную во имя
того сплочения, которому дна нет,
и я не схимничал, я влекся им вослед —
вне находящимся и так непоправимо.

1969

На далекие приветы —
взмахом солнечной руки.

Сколько песен недопетых,
недожатых, как курки.

Не заметанных на слове
в добрый вязаный стежок,
отпустивших на изломе
человечий посошок.

Из огня, да не в полымя.
Притушили на пути.
А дорога все калымит —
из последнего плати.



Михаил АЙЗЕНБЕРГ

СТИХИ ОДНОГО ГОДА

Когда судьба сведет за общий стол
в славе причаливших, их речи перескажет
Когда смятенье пагубное ляжет
на лица их как гипсовый чехол...
или не так — когда сойдется клин
на пустырях отторженного срока
годах безлюдия, — и ближние вдали
Все ближние мои стоят далеко...
Среди чужой, на выкате, листвы
останется ли ветка боковая
попутный ток на парусах ботвы...
круче держи на меньшее из двух
на оторопь — глядеть не узнавая
водой писать, непарный кутать слух

а выдохи уходят, лекаря,
 под перепись и следом в поговорку
 ведь железы мои не повернуть...
 любой подвох слетается на корку
 на отрывной шумок календаря
 и невидаль показывает спину
 ее, несохнущую, зачерпнуть
 удесятери мне силы, но и там
 я, полоскатель, горло опрокину...
 где след ее? читаю по тылам
 щит головы, читаю по лиловой
 и выщербленной родинке почтовой.

* * *

и каждый час возьми себе за плечи
 от терпеливой рожицы в слезах
 какими в остающихся глазах
 последние останутся три вечера

несвеянным последние рожны
 стоят кустом, и ростом грызуны
 входу и выходу моим откроют двери
 по отмерному лову босиком
 окруженной первинкой для потери

как перехватчики гуляют далеко!

* * *

Короткий час, тогда чертополох
 полуживую выдавит щетину
 Над головой растащат паутину
 и завернут в отпавшее крыло

А на мазутном зеркале реки
 пока оно по швам не разойдется
 появится, потом в комок собьется
 заметный ворс притершейся мошки

Как паутина выдувается холмом!
 оступишься — и дом не разворошен,
 и лес не занавешен, и не тот
 опомнится и руки отведет...
 — Когда я был оставлен и обложен —
 — и заново язык не отрастет...
 но мелкий пот не отойдет от кожи
 пускай и губы не коснутся дна
 и рябью не подернутся — а тоже
 пиленая подстилка холодна

* * *

Дойдет медузой и слюной
 что гулким бесом начиналось,
 текущий оттиск водяной
 волна впечатала, прижалась.

Ждут зачехленные кусты
 на опрокинутом подзоле,
 и полдень сводит все черты
 как побелевшие мозоли,

чтобы расплавить, приживить,
 пришить к себе любую нитку
 и это небо подпалить
 как парусиновую свитку.



Моше ШАМИР

МИР ПЕРЕД ПРОПАСТЬЮ

Если взглянуть на процессы, происходящие в мире, глазами стороннего наблюдателя, то покажется, что Западное общество неумолимо движется к катастрофе, подталкиваемое слаженными действиями левых сил. Более того, сами эти силы, чей рост слишком заметен, чтобы его игнорировать, являются симптомом и признаком надвигающейся катастрофы. Действительно, полевение мира очевидно, но не будем делать поспешных выводов. За быстро меняющимся соотношением политических сил в той или иной стране стоят процессы более глубокие и сложные, присущие всему Западнему миру в целом.

Прежде всего определим само явление, которое весьма не точно называют "полевением мира". Я не уверен, что весь свободный мир и Израиль, как часть его, скользят влево как по наклонной плоскости. Тем более это утверждение не будет верным по отношению ко всему молодому поколению, особенно у нас в Израиле. Пра-

вильнее было бы сказать, что процесс полевения в Западном обществе был определяющим и главным, быть может, в конце 60-х годов да и то в определенных кругах. Он развернулся вокруг проблемы Вьетнама. Вьетнамская тема зажгла во всем мире оппозицию против Америки, против действий Соединенных Штатов в Юго-Восточной Азии.

Вокруг вьетнамской проблемы объединились левые силы, выросла "левизна" в среде студентов и интеллектуалов, в печати и обществе самой Америки. В сущности, войну во Вьетнаме выиграли американские студенты.

Теперь положение иное. Мне кажется, что в последние годы есть склонность к обратному направлению. Если не среди писателей и интеллектуалов, то, во всяком случае, в достаточно широких слоях общества.

В Израиле эта противоположная левизне тенденция чувствуется, например, вот уже несколько лет в университетских кампусах на выборах в студенческие организации. Левые отстают, несмотря на крикливую агитацию, и побеждают на выборах представители Ликуда и именно в Еврейском Университете в Иерусалиме.

И все же мы вправе спросить: почему в академическом мире и интеллектуальной среде, значительной части прессы и литературы свободного мира присутствует эта тенденция к левизне? Неужели события последних десятилетий ничему не научили мыслящую часть человечества? Чтобы ответить на этот вопрос, следует подвергнуть анализу состояние общества в демократических странах Запада, с одной стороны, и разрушительные последствия коммунистической пропаганды — с другой.

Определяющими являются три фактора. Первый — положение во всем мире, объективное и поддающееся объяснению. Все Западное общество прошло процесс своей деимпериализации. Он начался после Второй мировой войны, но главным образом развернулся в конце 50-х годов, когда Франция оставила Северную Африку, Англия — Суэц, Бельгия ушла из бельгийского Конго. Несколько позже Америка вынуждена была покинуть

Юго-Восточную Азию. Такovy главные события этого периода. В это же время произошло несколько антимонархических переворотов в арабском мире, которые привели к власти военные диктатуры весьма пестрой политической окраски. К этому периоду относится то, что принято называть освобождением и деколонизацией Африки, Кубы и некоторых других стран.

Новые веяния привели к неожиданным результатам в Западном мире, главным образом, среди интеллигентов свободного, демократического общества. Ликование по поводу освобождения ранее угнетенных народов сменилось чувством вины по отношению к ним, и именно теперь, когда эти народы обрели давно желанную политическую независимость. Ощущение вины мыслящего представителя Западного мира опиралось на довольно странную логику: если вчера мы были господами народов колоний и эксплуатировали их, то сегодня, когда они распрямились от гнета и продвигаются по дороге свободного развития, справедливость всегда и во всех случаях будет на их стороне.

Вообще говоря, представление о справедливости и морали у западного интеллигента приобрело постепенно причудливый, если не прямо извращенный характер. Справедливо все то, что хорошо не для меня, а для другого. Но если это хорошо для твоего врага, то такая справедливость является, по-видимому, наилучшей, наивысшей справедливостью. Все, что приносит мне удовлетворение, видимо, не очень справедливо. Что-то здесь не так, что-то не в порядке.

Трудно признать подобную логику нормальной. Скорее, это — результат вырождения здоровых жизненных чувств и эмоций, когда взамен ощущения жизни во всей ее полноте и многообразии у западного интеллигента остались только рациональные спекуляции.

Признав собственную логику единственной и непогрешимой, нетрудно развить чувство справедливости до гипертрофированных размеров. Тогда то и только то при-

знается достойным и справедливым, что хорошо для другого, а не для меня, моей страны, моего народа.

Законным следствием гипертрофии справедливости явилось чувство неполноценности, ощущение собственной вины, комплекс самообвинения по отношению к африканцам, азиатам, ко всем народам, которым предстоит еще появиться в ореоле вчерашнего угнетения. Они правы — мы виноваты.

И если у нас есть то, чего у них нет, то это лишь свидетельствует об одном: они хорошие, мы — плохие. Разумеется, эта точка зрения несколько утрирована, но сущность ее оставлена без изменений. Кажущаяся наивность прикрывает слишком серьезные выводы: хорош любой вчерашний угнетенный, даже если он пришел сегодня как убийца и насильник. Он насилует твою дочь и убивает твою мать, вчера он был лишен всего — завтра он завладеет всем тем, что отберет у тебя. И все же он оправдан. Он хорош до тех пор, пока не завладеет всем, а после я о нем ничего не могу сказать, так как уже не буду в живых.

Странная эта теория стала обоснованием не только чувства вины, но и настроений солидарности левых кругов с недавно угнетенными, сегодня наиболее агрессивными и динамичными народами, взявшими себе на вооружение левые лозунги.

Вторая причина полевения известной части интеллигентных кругов — внутреннего свойства. Она коренится внутри самого западного демократического общества и выражается прежде всего в кризисе духовных ценностей, кризисе морали этого общества. Идеал личной свободы, на котором построено современное демократическое общество, идеал, утвержденный великими революциями прошлого, претерпел весьма существенные изменения.

Нет смысла доказывать, что провозглашение свободы личности как незыблемого принципа человеческого общежития было выдающимся завоеванием человечества. Нет никаких оснований отрицать, что ныне мы достигли при этом противоположных результатов. Свобода лич-

ности перешла в личную распущенность, вместо идеального общества возникло общество без идеалов, обязывающих все общество и каждую отдельную личность уважать закон и принципы свободы.

Мы достигли общества вседозволенности, в котором единственным идеалом стал идеал личного счастья, личного удовольствия. Благо бы еще удовольствия, достигаемого совместно с другими в перспективе целой жизни. Нет, идеал — счастье только мое и в данную минуту, даже если ценой будет моя собственная жизнь. Крайние проявления этого — разлив наркомании и безудержного насилия, половые извращения и сексуальные оргии. Всего того, что окончательно разрушает принцип жизни в общественных рамках.

Не случайно, что "левизна" в настроениях молодежи идет рука об руку с крайними течениями, разрушающими не только общество, но и личность как таковую. Когда мы видим анархизм в повседневной жизни, в отношении людей одного к другому, в насилии и вандализме, в нарушении закона и разрушении культурных ценностей и самого человека, мы всегда встречаем его вместе с левыми лозунгами и ультрарадикальными теориями.

Потому что сегодня левизна в Западном мире — это разрушение существующих общественных рамок и уничтожение существующей цивилизации. Представители наивного периода социализма в конце прошлого века утверждали, что они стремятся к разрушению вчерашнего мира для того, чтобы построить мир завтрашний, мир всеобщего счастья и благоденствия. Сегодня западные левые не нуждаются в завтрашнем мире, они не ищут его, не разрушают плохой мир во имя хорошего. Наоборот, они сознательно разрушают мир достатка и изобилия, чрезмерной еды и неограниченных передвижений. В этом мире слишком много свободы, секса и возможностей проводить время так, как заблагорассудится.

Ты разрушаешь это потому, что это слишком хорошо, чтобы существовать. И ты не заинтересован в завтрашнем мире и незнаком с завтрашним днем. Иными словами,

исчезло и растворилось в чистом отрицании всего существующего главное основание классического социализма. Осталось жаждущее удовольствий "Я" и беспринципные сообщества, спаянные псевдореволюционными идеями современного анархизма, скрытыми часто под маской движений за социальную справедливость и национально-освободительной борьбы.

Когда в такие группы, Кастро или Че Геварры, Арафата или Жоржа Хаббаша, привносится политическое знамя, они приобретают легитимацию национально-революционного движения, а разнузданность ультратерроризма получает печать героизма. Левый студент Гарварда или Гейдельберга, Токио или Сорбонны, соорудивший баррикаду из университетских скамей и кафедр, не просто бесчинствует и разрушает свой университет, но помогает мировой революции.

Левые круги признают идейность подобного нигилизма. В отличие от старого, описанного еще Тургеневым, нигилизма, новый нигилизм породило современное общество изобилия. Оно уничтожило элемент наказания за антиобщественные действия. Точнее, произошло то, что можно было бы назвать эрозией наказания в современном обществе. В большинстве стран отменена смертная казнь, а тюрьмы все больше и больше превращаются в аудитории для получения образования. Наказание чаще всего не соответствует мере содеянного. Но главное, конечно, в том, что нет наказания общественным мнением в обществе вседозволенности.

Все может идти, и все проходит. Все разрешено, и нет границ дозволенности под звездным небом. Но это не безграничность совершенствования, это — совершенный конец. В области секса литература и искусство достигли предела. Режиссер выводит мужчину и женщину на сцену, и они совершают половой акт на театральных подмостках. Что может быть больше этого? Разве что раскрыть органы и наблюдать под микроскопом, как изливается семя? Но какое отношение имеет подобное к

искусству и даже к сексу? Может быть, это наука, но сцена никогда не заменяла научную лабораторию.

Достигнут последний предел, последняя стена. Нет таких поисков и желаний, в отношении которых общество могло бы сказать: это нельзя разрушать! Это наказуемо!

Я думаю, нет оснований говорить о конце нашей цивилизации, но конец эпохи рационализма очевиден. С точки зрения духовной, это конец общества, основанного на рациональных принципах свободы и демократии, признающих законность и реальность только моего "Я" и отвергающих все находящееся над повседневной жизнью, над личностью и обществом в целом.

Если ты будешь по-прежнему отстаивать старые понятия, ты не найдешь ничего, чтобы ответить молодому человеку, пришедшему к тебе и задающему вопросы о сокровенном смысле бытия. Зачем жить вообще и жить именно с тобой в мире и согласии? Зачем жить скромным и достойным и скрывать интимные стороны своей жизни? Почему я не могу на...ть на тебя, на общественные рамки и установленные обществом законы?

Чтобы ответить ему на это, ты обязан вернуться к принципам, говорящим, что не все свободно, не все разрешено. Есть общество, и каждый должен считаться с другим, иначе общество не сможет жить и в нем не сумеют жить люди. Но на вопрос: "Зачем люди должны жить?" — нет рационального ответа. Здесь, как и в науке, мы достигли пределов возможного для человеческого ума. Все, что мы способны сделать, — это определить то, о чем думаем в данную минуту. Не больше.

До сих пор мы говорили о факторах, которые подрывают устои Западного общества и открывают дорогу левой опасности, по преимуществу внутреннего происхождения. Однако есть и третий фактор, действующий извне с цинизмом и брутальностью грубой силы, сознающей свою безнаказанность и мнимое превосходство. Речь идет о многолетних и непрерывных усилиях коммунистического мира, использующего открытость и доступность

Западного общества для его подрыва. Этот мир работает с миллионами агентов, которые обманывают и "просвещают", продают и распределяют наркотики, фабрикуют литературу, распространяют суждения, и платят деньги, где требуется, и убивают, где требуется, и подогревают левые настроения, и поддерживают коммунистические партии, уверяющие, что у них "все будет по-другому", и льстят, и устраивают фестивали, и дают лозунги, звучащие то классово, то национально, но всегда на пользу и в интересах, чуждых свободе и демократии сил.

Я уверен, что и в нашей израильской действительности действует эта огромная сеть, усовершенствованная коммунистическим миром. У него есть успех по одной простой причине: в отличие от стран коммунистической диктатуры, где все запрещено, закрыто и засекречено, Западное общество открыто, равнодушно и сыто. Оно слишком мягко и не в состоянии исправить себя и оградить от всепроникающего растления.

Таковы факты, и все же я не принадлежу к числу пессимистов. Не только потому, что в свободном мире ясно чувствуется пробуждение при виде надвигающейся катастрофы, а левое разложение захватило достаточно ограниченный слой интеллектуалов и молодежи, не прилагающей усилий к труду. Здесь, в Израиле, я вижу ответ на тревожные вопросы современного мира. Ответ Израиля построен на свойствах нашего государства и качествах, присущих национальному характеру еврейского народа.

Возможно, утверждение звучит парадоксально, учитывая военную ситуацию и сложные общественные проблемы Израиля. И все же это так. Присмотримся к тому, что произошло и происходит в Израиле в плане рассматриваемой нами проблемы.

После Шестидневной войны мы неожиданно обнаружили себя в положении империи. Маленькой, где, в сущности, все провинциально, но империи. Вдруг мы получили все болезни империализма; и, так же как на Западе, тот же слой интеллектуалов, писателей и студентов вдруг охватило то же чувство вины перед арабами. Победа обо-

рачивалась поражением и духовной растерянностью. Что мы сделали арабам? Как это плохо, что мы сумели их победить!

Быть победителем — плохо. Быть побежденным — хорошо. Не важно, что несчастный побежденный — это вооруженный до зубов советским оружием враг, публично заявлявший о своем намерении стереть Израиль с лица земли. Все равно, раз он побежденный, он — несчастный, он хороший.

Та же извращенная логика левого западного интеллектуала подсказывала далекие от нормального здравого смысла суждения. Сокрушили врага? — сделали, по-видимому, большой грех. Есть у нас чуть больше возможностей дышать? — значит, что-то с нами не в порядке. И тогда пошли диспуты, продолжающиеся до сего дня: что такое сионизм и где границы Эрец Исраэль, имеет ли право еврейский народ на свою родину или в силу чувства высшей справедливости следует этим правом поделиться с теми, кто вовсе собирался лишить нас родины.

Появился весьма интересный тип людей. Те, кто морщился от победы в Шестидневной войне, выступают против заселения Иегуда и Шомрона. Это те же люди, которые выступали когда-то против еврейских традиций в нашей жизни, против объединения еврейского народа в рамках национального государства. Они не пылали энтузиазмом в начале массовой алии из Советского Союза, и были среди них такие, которые пытались подстрекать против алии, используя для этой цели спекулятивные лозунги.

Достаточно вспомнить некоторые движения начала 70-х годов с лозунгом "Почему вы им даете, а нам нет!", с псевдозаботой о пригородах и кварталах бедноты. Маски были разные, сущность — одна.

Однако именно у нас в Израиле началось и продолжается одоление этого разлагающего национальную душу процесса. И с этой точки зрения мы можем служить определенным видом прогноза, своеобразным вызовом Западному миру.

Что же все-таки произошло у нас? Почему ослабление общества не было столь великим, а левые настроения вызвали обратную реакцию? Причин, разумеется, существует несколько. Прежде всего окружающая нас враждебность арабских стран далеко не совпадает с тем, чем были по отношению к Бельгии, Франции, США страны Африки и Юго-Восточной Азии. Здесь намного более ясна расстановка сил. Любому непредубежденному человеку видно на первый взгляд, что здесь не тот случай, когда бедные, ограбленные, лишенные прав народы нуждаются в сочувствии.

Нам противостоят народы, у которых огромные богатства, обширные земли, несметные природные ресурсы, в первую очередь нефть, сильнейшая мировая политическая позиция. Строго говоря, они ни в чем не нуждаются. Они просто не готовы терпеть чуждый им элемент на Ближнем Востоке, а именно — евреев и еврейское государство.

Впрочем, евреи не являются исключением. Трагедия Ливана дает ясное представление всем, кто не потерял способность понимать и оценивать происходящие события, что готовит государству Израиль план "палестинизации". Ливан стал наглядным примером уготованной Израилю судьбы, опытной лабораторией с десятками тысяч убитых.

В глазах широких слоев израильского общества враг, противостоящий нам, отнюдь не является воплощением хорошего. Это очевидно. Поэтому в Израиле нет того чувства вины и моральной неполноценности по отношению к арабам, какое было достаточно широко распространено в европейских странах по отношению к бывшим колониальным народам.

Конечно, и у нас есть сумасшедшие и крайние левые, но широкие круги общества не могут встать на их точку зрения и принять их идеологию.

Второй существенный момент — проблема взаимоотношений с Советским Союзом. Руководители коммунистической России настолько очевидно и последовательно

демонстрируют враждебное отношение к Израилю и его народу, что для заблуждений места не остается при самых беззастенчивых идеологических спекуляциях. Американцы могут тешить себя иллюзией "детанта". Французы и немцы предаются самообману налаживания добрососедских отношений. Даже чехи и венгры, для которых соседство с русским медведем не очень-то симпатично, полагают, что все-таки можно как-то устроиться у него под боком. Стоит только избегать слишком крепких объятий, и мир воцарится в сумерках его грозной тени.

Для нас подобная позиция неприемлема по двум причинам. Во-первых, в России остались еще евреи, наши братья. Их судьба нам не безразлична, а часть из них хочет жить с нами в стране Израиля. Трудно рассчитывать на понимание этого стремления со стороны советских властей. И если в повседневной жизни не каждый израильтянин обнимает тебя и говорит, что ты его брат, то в национально-государственном масштабе наше отношение к евреям России является национальной аксиомой. Вряд ли кремлевские руководители примирятся с ней в ближайший обозримый период.

Вторая причина тесно связана с позицией Советского Союза в арабо-израильском конфликте. Безукоризненно проарабская и такая же четкая антиизраильская линия Кремля не позволяет израильским левым прижиться и пустить глубокие корни в той мере, как это произошло в Европе. Агрессивность Советской России ясна у нас больше, чем в какой-либо другой стране мира.

Есть, наконец, еще один принципиальный аргумент. Рациональная революция не пошла у нас слишком далеко. Сионизм далек от чистого рационализма. Я сказал бы более точно, что он не до конца рационален. Разумеется, можно набрать достаточно представительный набор из книг Борохова, Бен-Гуриона или Берла Каценельсона, где ни разу не будет упомянуто слово "Танак" и не произнесено "Да будет благословенно Имя Господне". Однако это совсем не является доказательством бездуховности сионизма.

Более того, как в теоретическом сионизме, так и в практике строительства государства Израиль моральная сторона намного более сильна, чем в национально-государственной жизни других народов Западного мира.

И неизмеримо более важна и существенна наша национальная принадлежность и национальное достоинство. Для устоявшегося общества англичан и французов национальный вопрос не является столь жгучим и болезненным, как для нас. Их национальному существованию никто не угрожает, разве что вспыхнет война, но пока ее нет. Для нас национальный вопрос до сих пор остается нервом общественной жизни по многим соображениям. Прежде всего еще далеко не завершено строительство общества и государства, большинство еврейского народа пока находится в рассеянии, нам постоянно угрожает война, и мы вынуждены все время обороняться. Поэтому в национальном вопросе у нас есть больше места для эмоциональных переживаний и моральных обязательств.

Например, оставить Англию и переехать жить в Соединенные Штаты является признаком удачи. Никто не пытается это скрыть, и уж тем более никто не рассматривает отъезд с Британских островов как акт национальной измены. Эмиграция не выглядит позорным делом в гражданском сознании англичанина. Не так обстоит дело с теми, кто покидает Израиль. Эмиграция из страны встречает сильнейшее душевное несогласие, резкое гражданское и национальное осуждение. Многие прямо рассматривают ее как дезертирство. В то же время репатриация, возвращение в страну неизменно встречаются с воодушевлением. Эти различия не случайны.

Моральные обязательства и национальные переживания дополнены и скреплены у нас религиозной основой. Я думаю, что религиозный момент в Израиле является намного более определяющим, чем в любой другой стране мира, так как наша религия — национальная религия. Это величайший положительный фактор нашей жизни.

Выдающимся примером, подкрепляющим мою точку зрения, служит национальное движение израильской моло-

дежи — "Гуш Эмуним". В этом движении теснейшим образом переплетены национально-патриотический и религиозный факторы. Я думаю, что создание "Гуш Эмуним" наиболее сильный ответ Израиля на процесс дегенерации и вырождения левого европейского интеллектуала. Взамен рациональных спекуляций "Гуш Эмуним" предлагает возвращение к исполнению заповедей, к принципам "мицвот" как в личной, так и в общественной жизни. Воспитательное в своей основе, движение до сих пор лишено политической окраски. Оно выдвигает моральные принципы и национальные концепции в качестве базы своей деятельности. Есть обязательства и идеалы, которые стоят выше повседневной жизни, выше данного общества и уж, конечно, выше личности с ее разрушающим эгоизмом.

Западному миру предстоят еще большие испытания. Эпоха после Второй мировой войны дает немало доказательств успеха коммунистического продвижения в странах свободного мира. Коммунизм пытается посадить на свой поезд многочисленные народы постколониального периода и вложить им в руки не только свои идеи, но и смертельное оружие новейшего образца. Теоретически можно себе представить, что западная цивилизация стоит на краю пропасти, что ей угрожает Чингиз-Хан номер два.

Однако история не идет по столь прямым линиям. Гибель Западного мира не выглядит абсолютно неизбежной. Его судьба в значительной мере зависит от состояния Западного общества, способности к трезвому самоанализу и степени сопротивления. Я думаю, на Западе есть силы, готовые оценить грозящую опасность и остановить продвижение коммунизма прежде всего в духовной сфере. Необходимо поднять заново оценку культуры, старых традиций и сбросить духовное одичание, прививаемое левыми кругами.

Я вижу реальные симптомы возрождения и укрепления Западного мира, хотя западная демократия еще не сделала серьезного самоанализа. В этом очистительном процессе мы не можем и, я верю, не будем стоять в стороне.

Перевел с иврита Борис Орлов.

Борис ХАЗАНОВ

НОВАЯ РОССИЯ

"О чем же мы станем беседовать? У меня, вы знаете, всего одна идея, и если бы ненароком в моем мозгу оказались еще какие-нибудь идеи, они, конечно, тотчас прилепились бы к той одной: угодно ли это для вас?"

(Чаадаев в письме к Пушкину)

Вот я сижу и в который раз перебираю свои безутешные мысли. Пытаюсь извлечь из них какой-нибудь окончательный вывод. У меня в мозгу действительно только одна идея, и, о чем бы я ни подумал, все сходится к ней. Я думаю о своей стране и о том, что такое я сам перед лицом моей страны. Я знаю, что тут решается вопрос всей моей жизни, ведь если бы это было не так, я воспринимал бы феномен этой страны лишь как более или менее возвышенную абстракцию; я сказал бы себе, что эта страна огромна, хаотична и разнолика, что ее история несоизмерима с моей жизнью, что она непостижима, что

Выдержки из этой статьи опубликованы в газете "Наша страна".

ее просто нет. И что на самом деле я сопричастен лишь некоторой эмпирической реальности, более или менее неприглядной, и вопрос в том, чтобы определить свое отношение к этой реальности, избегая метафизических терминов, таких, как Россия, русский народ и пр.

В действительности это не так, и я ощущаю эту страну — всю страну — физически, как ощущают близость очень дорогого человека. И оттого, что я сознаю, до какой степени запуталась, до какой невыносимой черты дошла моя жизнь с этим близким мне человеком, я не нахожу в себе решимости свести проблему к простому вопросу перемены квартиры, не могу спокойно обдумать, где и на каких условиях я обрету для себя новый очаг. Мысль о новом супружестве меня не привлекает. Для этого я слишком намучился в первом браке, да и слишком русский человек для того, чтобы всерьез надеяться на пятом десятке жизни начать новую жизнь в качестве израильтянина, парижанина или американца. Проще всего было бы сказать: эта страна погибла, и с ней больше нечего делать.

Вот уже, по крайней мере, три года я вижу себя в невероятной ситуации. Становится осуществимой мечта, столько лет сосавшая меня: уехать. Уехать вон — бежать, не оглядываясь, не прощаясь, не тратя времени на сборы и расставания, уехать, и чем дальше, тем лучше.

Когда-то, сидя в лагере, я представлял себе, что было бы, если бы на десять минут открыли ворота лагпункта и сказали бы: кому надоело — сматывайтесь. Это было бы какое-то нечеловеческое столпотворение. Самые знатные лагерные придурки, нарядчик, помпобыт, зав. столовой, побросали бы свои замечательные должности, свои теплые места и смешались бы с теми, кого совсем недавно отделяла от них социальная пропасть, не менее глубокая, чем пропасть, отделяющая рабочего от секретаря райкома. И начальник лагпункта, оперуполномоченный, часовые на вышках и вся псарня растерянно глядели бы на эту бегущую толпу и, может быть, втайне завидовали бы

им, а потом спохватились бы, что десять минут уже прошло, и с наслаждением заперли бы тех, кто не успел выбраться.

Я слышу вокруг себя: такой-то уехал. И такой-то уехал. Их становится с каждым днем все больше. Пустеет вокруг: все меньше остается друзей или тех, кто мог бы стать мне другом. Правда, такой-то все еще не добился визы, но и он непременно уедет. Что самое удивительное, этот Такой-то до такой степени полон решимости добиться своего, он так уверен в своей безнаказанности, он настолько сошел с ума, что даже не помышляет о том, чтобы скрываться. Наоборот: он трубит об этом на всех перекрестках, говорит и пишет, вызывает и настаивает, и похоже, что и его наконец выпустят — чтобы избавиться от него. "Выпустят!" Вот словечко, сделавшее излишними доводы и объяснения. Выпускают из клетки, из тюрьмы.

Если бы даже уехало только сто семей, если бы их, этих отпущенников, набралось всего полтора десятка, ситуация не перестала бы выглядеть невероятной и чудесной, и такой она останется навсегда для поколения людей, выросших в убеждении, что покинуть Советский Союз невозможно, как невозможно забросить камень так высоко, чтоб он не упал обратно. Это поколение, искалеченное страхом, ни в чем не продемонстрировало так свою увечность, как в своем понимании патриотизма. Ведь ему и в голову не приходило, что любовь к родине ничего не стоит, если известно, что родину нельзя покинуть. Оно не могло усвоить ту очевидную для нормального человека мысль, что условием любви может быть только свободный выбор возлюбленной и что принудительность патриотизма умерщвляет самую идею привязанности к отечеству. Вы можете сколько угодно сидеть дома, не чувствуя надобности выйти на улицу, но как только до вашего сознания доходит, что дверь заперта и у вас нет ключа, родной дом превращается для вас в тюрьму.

Поколение, к которому я принадлежу, знало и, можно сказать, всосало с молоком матери, что говорить на эти

темы не полагается. Самая мысль об отъезде была преступлением; высказанная вслух, она гарантировала лагерный срок, ибо ставила под сомнение коронный тезис о том, что мы живем в самом лучшем в мире государстве, где наконец достигнуто все, о чем мечтали спокон веков лучшие умы. Тут, как всегда, действовал закон двухэтажности, закон афишируемого и подразумеваемого, и радость по поводу воплотившихся грез весомо обеспечивалась безмолвным, но внятным предупреждением: а кто не радуется — пожалеет. Так вечно неунывающий массовик-затейник, называемый пропагандой, не давал скучать народу, хлопал в два прихлопа, и топал в два притопа, и призывал становиться в круг; а в дверях маячили розовые лица, револьвер желт. И вдруг как бы сама собой дверь, неизвестно почему, приоткрылась.

Но ведь это были люди, которые выросли в тюрьме. Здесь они учились говорить, на этом каменном полу ползали несмышленишами. Я знал человека, сидевшего много лет. Он со страхом думал о приближающемся конце срока. В лагере, что бы ни произошло, он, по крайней мере, знал, что ему обеспечена пайка в четыреста грамм и место на нарах. В лагере прошло полжизни, здесь были его друзья, прошлое, здесь все его знали и он знал всех. Лагерь был его отечеством. И он спрашивал себя, что он станет делать на воле. Кому он там нужен? Я хорошо понимал его. Я знал многих таких, как он. В конце концов я и сам когда-то вышел за ворота, испытывая противоречивые чувства: радость и растерянность. Растерянность была сильнее радости.

Сама собой — хоть и не без помощи властей — возникла теория о том, что нам нечего делать на воле. Теория, в известном смысле подобная теории о том, что свет вреден для зрения. Ожила легенда, которая должна объяснить, отчего мысль об эмиграции сама по себе, независимо от заповедей и запретов и независимо от преимуществ советского строя, невозможна, несообразна, позорна и противоестественна. Легенда эта состоит в том,

что истинно русский человек в силу коренных особенностей своей души не может жить на чужбине. Не нужен ему берег турецкий, и Африка ему не нужна. Он скажет: не надо рая, дайте родину мою. Если он писатель, ему не о чем писать, если он певец, то теряет голос и т.д. в бесчисленных вариациях, как будто бы не было или нет за границей русского языка, русской мысли, русского искусства и русской свободы. Поэтическая версия этого мифа заключается в том, что бесчеловечный Запад противопоставлен идеалистической русской душе, а прозаическая — в том, что за рубежом придется худо, так как там надо вкалывать. С этой точки зрения все мы являемся своеобразными инвалидами: не говорим на иностранных языках, ни ступить, ни молвить не умеем и не умеем трудиться.

Нечего и говорить о том, что коварнейший момент всей этой ситуации — тот, что уезжают евреи. Вопрос нелепым образом обернулся чем-то вроде проверки подлинности. Истинно русскому человеку лучшего доказательства и не надо. Народное самолюбие, народная подозрительность, народный патриотизм злорадно тычут в нас пальцами. Тысячи губ складываются в презрительную гримасу.

"Бегут. А-га! Бегут, как крысы. Что им Россия!.."

И это еще относительно благородная позиция, ибо в ней как будто содержится признание, что Россия в самом деле тонущий дредноут; можно встретить смерть, стоя на шканцах, а можно и спрыгнуть в воду. Я стараюсь вычленил из того, что говорится об эмиграции евреев, все принадлежащее собственно официальной точке зрения, так как очевидно, что она не заслуживает вовсе никакого уважения. Но в том-то и дело, что отделить "официальное" от "народного" нет никакой возможности. На самом деле то, что извергают газеты, то и есть vox populi.

Не видно, чтобы простой советский человек проявлял особую охоту рассуждать об эмиграции; не видно, чтобы эта тема его особенно воодушевляла. Когда же он все-

таки пытается сформулировать свое мнение, выясняется, что собственного мнения у него не существует. Обо всем, что выходит за пределы обыденного, советский человек говорит словами, вычитанными из "Огонька". Иногда он как будто чувствует, что за этими словами нет ничего — никаких чувств и никаких мыслей. Но это только подтверждает, что он не испытывает никакой нужды в собственном взгляде на вещи.

Он оскорблен, обижен. По его словам, оставить родину — это все равно, что изменить родине. С одной стороны, он представляет себе дело так, что за границей живется легко, там тепло и не нужно валенок, там можно спекулировать и наживаться, оттого они туда и едут. С другой стороны, он знает, что за границей безработица и власть капиталистов и что простаков ловит вражеская пропаганда; и вообще — там хорошо, где нас нет. Он похож на одного из героев Аверченко, который объяснял детям, что курить папиросы нехорошо — особенно такие плохие папиросы. И детям хотелось курить все подряд: сухие листья, подобранные на тротуаре окурки и роскошные длинные папиросы "Герцеговина-Флор".

Хочется бежать без оглядки — а куда, не так уж важно.

И не все ли равно, что о нас будут говорить. Ведь мы представители племени, чье дело при всех обстоятельствах проиграно. Как бы мы ни поступили, о нас скажут дурно. Что нам терять!

"Coelum, non animus...". Небо над головой меняет тот, кто бежит за море. Небо, а не душу. Я этот стих зазубрил с младых ногтей. Страх и впитанное с материнским молоком рабство мешают нам оттолкнуться от берега. Значит, мы недостойны называться свободными людьми, недостойны свободы. Как это всегда бывает, мы заслужили свою участь. Но я не желаю признать себя рабом — и не хочу отречься от матери. И я нашел выход. Я сформулировал для себя главную мысль, но я не виноват, если она покажется абсурдной. Абсурд-

ная истина порождается абсурдными обстоятельствами.

Как-то раз я присутствовал на сессии районного совета депутатов трудящихся, далеко от Москвы. Это было одно из немногих собраний такого рода, на которых мне пришлось побывать, и отнюдь не из тех, на которых принимают важные решения: я вообще не видел общественных собраний, на которых кто-нибудь что-нибудь бы решал; и все же я нахожу, что оно обогатило мой жизненный опыт. Обсуждалось положение дел в колхозах. Выступил местный прокурор. Он настаивал на решительных мерах для того, чтобы прекратить продолжающееся под разными предлогами бегство молодежи из села. Этот прокурор, говоривший с сильным деревенским акцентом и, очевидно, сам происходивший из деревни, не понимал, насколько нелепо звучали его слова. Но не о нем речь. На сессии выступила одна колхозница. В отличие от других ораторов она производила впечатление неглупой женщины. Она говорила о положении в их хозяйстве.

История до смешного напоминала ситуацию царя Авгия, но тут было не до смеха. Помещения для скота были настолько запущены, что коровы и телята стояли по брюхо в навозе. Через несколько месяцев они должны были утонуть.

Это была эпоха постановлений о крутом подъеме животноводства. Очистить стойла не было никакой возможности. Не найдя другого выхода, колхозники с большим трудом воздвигли новые помещения, а старые — бросили.

Я уважаю позицию патриотически настроенной интеллигенции, выражающей надежду, что рано или поздно некий очистительный поток омоет Россию — эти единственные в своем роде Авгиевы конюшни. Я только не вижу Геракла, способного выполнить необходимые канализационные мероприятия. Это не попытка состричь. Все черно впереди, и никогда еще не было столь ясного сознания всеобщей и невылазной беды, никогда я не чувствовал так отчетливо, что у всех нас и у наших де-

тей — ампутировано будущее. Мало было мук и унижений, вынесенных нашей страной, и когда-нибудь ее постигнет оглушительная расплата за то, чем она является сегодня. Спасением был бы, вероятно, распад империи, возникновение какой-нибудь федерации или возврат к международному статусу, аналогичному статусу Московского государства, — но это невозможно.

Куда же нам деваться? Бросить все?

Перед глазами, словно галлюцинация, стоит Русь — страна, куда лиса и кот привели доверчивого Буратино. В этой стране пасутся козы с выщипанными боками, вдоль заборов робко пробираются шелудивые жители, а на перекрестках стоят свирепые городовые. "Права держи!" Сыщики нюхают воздух и подозревают самих себя. В этой стране, в полицейском участке, за столом, закапанным чернилами, густо храпит дежурный бульдог. В этой стране было двенадцать миллионов заключенных, и у каждого был свой доносчик, следовательно, в ней проживало двенадцать миллионов предателей. Это та самая страна, которую в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя.

"Бегут. Что им Россия!"

Что ж, в определенном смысле — я никогда не был патриотом. В своей стране я чувствовал себя ссыльно-поселенцем. Я привык стыдиться этой родины, где каждый день жизни — унижение, каждая встреча — как пощечина, где все — пейзаж и люди — оскорбляет взор. Но тайное чувство шепчет мне, что этот стыд есть род извращенной любви.

Не нам воротить нос от этой тьмы и слякоти, мы и сами, как говорится, концом копия вскормлены, — сами коротали вечера с коптилкой, потому что керосиновая лампа была для нас недоступной роскошью. Не об этом речь, а о том, что на этой искалеченной земле будто бы нашла приют величайшая душевность. На эту душевность указуют нам как на некое национальное сокровище, уникальный продукт вроде паюсной икры, и мы, дескать, лишимся его, уехав на чужбину. А я вижу

всеобщее помыкание друг другом и презрение к человеческой личности, вижу, как государственные служащие — а в России все государственные служащие — унижают и обкрадывают каждого, кто мало-мальски зависит от них, как мужчины топчут достоинство женщин и взрослые оскорбляют детей. Я вижу, какую ненависть вызывает в нашей стране всякое проявление утонченности — красота, талант и оригинальность. Все убогое и немудрящее, напротив, приветствуется. Каждый народ воображением своих писателей создает собственный идеальный портрет. В данном случае это портрет доброго, мягкосердечного и непрактичного человека, не умеющего копить и приобретать, наивного и бесхитростного, готового последнюю рубаху снять и отдать ближнему и превыше всего на свете ставящего правду, которую он понимает как справедливость. Я спрашиваю себя, насколько этот образ соответствует действительно сти.

"Бегут". Народ — советский народ — в нас не нуждается, кем бы мы себя ни объявляли: русскими, евреями или русскими евреями. По-моему, вопрос стоит не о том, могут или не могут оставаться в Советском Союзе евреи, еврейская судьба — это только парафраз судьбы интеллигенции в этой стране, судьбы ее культуры, и еврейское сиротство есть символ иного, духовного одиночества, порожденного крушением традиционной веры в "народ". Раньше все обстояло проще: существовало деспотическое правительство и народ, который простирали к нам руки, взывая, как предполагалось, о помощи. Сейчас — кругом одни обломки. Я отдаю себе отчет в том, что то, что я говорю, не разделяют многие интеллигенты еврейского происхождения: ведь им кажется, что они ощутили в себе зов библейских предков. (Правда, я подозреваю, что, по крайней мере, для некоторых из них "национальное самосознание еврейства в СССР" есть особая форма произрастания вбок, когда не дают расти прямо, — новая форма инакомыслия.) И вовсе я не собираюсь отречься от того, что я еврей. Я еврей

самой чистой воды, все мои предки до одного были евреи. Но в это слово я — для себя — вкладываю другой смысл. Я отстраняюсь от еврейского изоляционизма не только потому, что не верю в него, — роль евреев диаспоры представляется мне иной, да и скучно было бы жить "в себе", — но и потому, что я не считаю, что оскорбленная и поруганная человечность нашла единственное прибежище в еврейском народе. Высшим доводом в споре с оскорбленными евреями для Достоевского, как помним, было то, что "коренной нации" приходится еще горше. Спор таким образом свелся к вопросу, кому хуже; каждая сторона ревниво отстаивала эту привилегию. Я согласен, что евреи терпят бедствие, — еще бы, — а я всегда видел себя только среди тех, кто терпит бедствие. Но не они одни оскорблены и унижены. Евреи идут ко дну, потому что идет ко дну Россия. И поэтому я с ней.

Я знаю, что когда я буду лежать на дне сырой и скользкой ямы на Востряковском кладбище, под дождем, похожим на лошадиную мочу, то и тогда мне будут сниться бесконечные дороги, лагерные частоколы, оперативные уполномоченные, стукачи и пьяницы. Меня будет преследовать кошмарный сон о стране, которая, подобно доисторическим животным, погибла оттого, что она была слишком большой, но последние слова, которые я оставляю ей, будут написаны по-русски.

В море обломков единственное, за что я могу уцепиться, это русский язык. Веру в язык я противопоставляю вере в народ — умершего бога. Религиозное отношение к языку кажется мне, впрочем, вполне еврейским.

Скажут: что за безумие твердить о языке без почвы и нации. Я могу ответить на это только то, о чем я уже писал в другом месте. Патриотизм в русском понимании слова мне чужд. Та Россия, которую я люблю, есть платоновская идея; в природе ее не существует. Россия, которую я вижу вокруг себя, мне отвратительна. Но вообразить себя в среде, где умолкла русская речь,

я не в силах. Русский язык — это и есть для меня мое единственное отечество. Только в этом невидимом граде я могу обитать.

Напрасно думают, что бред умалишенного отгораживает его от мира. Напротив: это его способ искать связь с миром. В моем одиночестве я знаю только один способ ломиться наружу. Безумие мое бредит по-русски.

Признаюсь, я не чувствую себя подготовленным к тому, чтобы стать гражданином Израиля. Я боюсь, что не смогу выполнить требования, которые вправе предъявить к нам маленькое отважное государство, отбивающееся от врагов, численно превосходящих его и вдохновляемых низкими побуждениями. Этому государству не нужны плаксивые погорельцы. Не нужны ему и высоколбые космополиты. Видите ли, между эмиграцией и иммиграцией есть большая разница, и со своей стороны я могу лишь завидовать счастливым, толкующим об обетованной земле отцов. Земля моих отцов — та, на которой я мыкаюсь сейчас. Или вообще никакая.

Я понимаю, что выстроить новые конюшни, а старые попросту бросить, вместо того чтобы взяться за расчистку, — это есть образец решения проблемы в истинно российском духе; на языке науки он именуется экстенсивным способом ведения хозяйства. Таким способом за исторически короткий промежуток были загажены огромные территории. (Последний пример — освоение целины.) Но в притче с коровниками сокрыто, по-моему, рациональное зерно. Разумеется, страна уже не может вернуться к былой изоляции, влияние внешнего мира будет ощущаться все сильнее, и в конце концов все это приведет к каким-то переменам. Но мы не доживем до подлинного возрождения. Не доживут и наши внуки. Мы будем влачить жалкое существование лишних людей, техническая интеллигенция будет мучиться сознанием того, что она служит дьяволу милитаризма, гуманитарная — проклинать себя за то, что продалась дьяволу демагогии, и в любом случае мы останемся иудеями в прямом и переносном смысле, презираемым народом

и неполноценными с точки зрения властей. Время от времени нас будут сажать в психиатрические больницы и лагеря, потом ненадолго нам посветит мартовское солнышко либерализации, чтоб вновь уступить место ледяным морозящим дождям, и так будет продолжаться до тех пор, пока все мы вместе с нашими правителями не угробимся в какой-нибудь грандиозной катастрофе — в какой-нибудь бессмысленной войне с желтым соседом. Нет, для нашего поколения есть другой выход.

История знает Новую Англию и Новую Голландию, знает примеры колоний, которые со временем, в силу закона обратного действия, подобного действию следствия на причину, оздоравливали и облагораживали метрополию. Нет надобности заниматься политической деятельностью. И бессмысленно обращаться к власти, которая по самой своей природе не способна нас понять. Но можно основать русскую колонию где-нибудь в Канаде, Австралии, в Новой Зеландии или вообще где угодно. Давайте сговоримся и махнем туда все. Там много места — в отличие от этой большой страны, где так тесно. Пускай в этой Новой России будет вначале только тысяча граждан. Она станет расти, как кристалл. Там, на новой земле, как на новой планете, мы взрастим нашу свободу, сохраним наш язык, наш образ мыслей, нашу культуру и нашу старую родину.

Июнь 1974

КРИТИКА



Владимир АЛЛОЙ

ПРОРЫВ В БЕСКОНЕЧНОСТЬ

(читая стихи Иосифа Бродского)

"Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство
И дышат почва и судьба".

Б. Пастернак

Если исчезает абсолютное, мир рушится. Бесшумно распадается он на тысячи осколков, равноправных, как части единого целого, но и бессмысленных уже, ибо целого нет. Тогда распадается "связь времен", связь людей, связь вещей. Делаются иллюзорными, исчезают и сами вещи, замещаясь своими качествами, признаками, проявлениями; зато признаки становятся самодовлеющими

**"И кажется порой, что нужно только
перегнать мотивы, отношенья,
среду, проблемы — и произойдет
событие..."**

Непрерывность течения времени уступает место дискретным скачущим периодам, промежуткам, "текущим моментам". Нет уже ни "до", ни "после" — только "теперь". И эти бесчисленные "теперь" в поисках какой-нибудь опоры хватаются за новые и новые осколки, пытаются обрести в них былую устойчивость целого. Их примеривают так и этак, отбрасывают одни и берутся за другие, стараются сцепить, склеить, связать как угодно, хоть на живую нитку, — и порой кажется даже, что цель достигнута, найдена гармония, закон соединения частей... Но проходит время, и воздвигнутое сооружение рушится, гармония оказывается химерой, а целое вновь распадается на бесчисленные осколки. И уже новое "теперь" начинает поиски утерянной связи, что могла бы соединить их. Кажется, это называют философией. Бесчисленные отвлеченные схемы, построения, фигуры. В плену замкнутого самодовлеющего "теперь", на основе его бытия и знания моделируются прошлое и будущее, подгоняемые под сегодняшние мерки, объясняемые из "теперь" и через "теперь". Но безуспешно — все рушится, шаткие построения безжизненны, в них нет связующего начала, одухотворявшего целое. Ведь

Доказанная правда
есть, собственно, не правда, а всего
лишь сумма доказательств".

Снова гряда осколков. И никакого просвета впереди, ибо весь исторический опыт оказывается нагромождением неудач, из которых нельзя вывести положительного ответа. И пресловутое "отрицание отрицания" есть не произведение, дающее плюс, а лишь сумма отрицательных результатов, ошибок, провалов истории, единственно возможное заключение из которых — что плохо и одно, и другое, и десятое, и сотое...

Мстит за себя отпадение от абсолютного, от Бога. Мстит прежде всего распадом сознания, целостного и органичного восприятия мира, его полноты, красоты, жизни. Попытки замены этой целостности логическими конструк-

циями, когда не говорят "я верю", но "согласен", ведут к абсурду, к тупику мышления. Где же выход? В возвращении к абсолюту? — но как, каким путем? Обращением к миру внешнему, миру вещей и явлений — но восприятие его распавшимся раздробленным сознанием, утерявшим органичность виденья, неадекватно, порочно, и порок этот онтологичен, его не избыть одним стремлением, одними собственными усилиями. Он неизбежно приводит либо к новым химерическим построениям, либо — при отказе от школьной логики — к агностицизму, к признанию собственного бессилия как основы нашего бытия. Может быть, полным отказом от себя, полаганием на Высшую волю, молитвой? Это путь Оптинских старцев, путь веры и подвижничества, прекрасный, но доступный лишь избранным. А может быть, обращением не вовне, а внутрь, в себя, в собственную душу, где под наносами бесчисленных "теперь" проступает смутный, размытый, но вечно хранимый отпечаток целого, слепок того органичного мира, который и был когда-то единственной реальностью?

Здесь мы вступаем в область творчества. Вглядываясь в этот слепок, художник, словно гончар, творит новую форму, создает свой, новый органичный мир. Этот мир тоже не адекватен реальному в полном смысле слова, да и трудно было бы требовать этого, ведь

"искусство
писателя не есть Искусство жизни,
а лишь его подобье".

Но в нем есть целостность, столь необходимая нашему сознанию и столь недостижимая на путях разума. В творчестве обретает он утраченный закон гармонии, интуитивно постигая неподвластную рассудку. Отсюда непрограммируемость творческого процесса, подчиненность художника гармонической стихии, неоформленной еще в слове, звуке, цвете, но уже захватившей творца. Хлебниковское "Бобэоби", Мандельштамовское "блаженное бессмысленное слово" есть, по-видимому, не что иное, как прорыв этой стихии. Годунов-Чердынцев у Набокова

выпекает, высвистывает, выборматывает свои стихи, поражаясь в конце концов внезапно открывшемуся их смыслу. Глоссолалия? — в каком-то смысле несомненно, во всяком случае, в начальной стадии творческого процесса. Потом она преодолевается, оформляется в звуки, слова, фразы, но начальный импульс все-таки стихийен. Именно потому, что он исходит из вечной творческой силы, он прорывает узкие рамки "теперь", вырывается из его схем и построений в бесконечность, где время вновь становится непрерывным, где восстанавливаются утраченные связи и равно близкими делаются и "до", и "после". Это путь истинной всечеловеческой поэзии, которым идут одиночки. Кажется, этим путем идет сегодня Иосиф Бродский.

Он начинал с "лирики", рифмовал "работа" и "до седьмого пота", писал о геологах и о "голубиных просторах России" — словом, шел обычным путем современного советского автора. Но удивительно скоро, уже в начале 60-х, он сворачивает с проторенной дороги признанной и дозволенной "романтики небесных колеров". Уже в маленьком "Все чуждо в доме новому жильцу" слышатся еще неясные отзвуки стихии, с которой поэт соприкоснулся. Собственно, отсюда, вероятно, и начинается путь Бродского как стихотворца, а не "молодого талантливого автора". Выход в бесконечность предполагает отказ от схем и определений "теперь", "неангажированность" поэзии сегодняшним днем. Подчинение вечной творческой стихии не может сочетаться с узкими рамками сиюминутных переходящих истин; там, где такое противоестественное соединение происходит, умирает "творчество и стихотворство" и начинается "стихосложение". Бродский понял вернее, почувствовал это, четкая формулировка придет потом, в "Речи о пролитом молоке":

**"Мне деревья дороже леса.
У меня нет общего интереса,
но скорость внутреннего прогресса
больше чем скорость мира".**

На разности этих скоростей мир стоит. Можно, конечно, верить, что "общество лучших сынов нагонит", однако пока этого не видно, скорее, наоборот, общество отвеку только и делало, что старалось избавиться от своих "лучших сынов", мешавших ему спокойно "искать жемчуга в компосте". А если и нагоняло их через сотню-другую лет после смерти, то лишь затем, чтобы ополщить их мысль, сделав хрестоматийной и тем самым раздробив ее целостность. Осознавший эту истину выпадает из "сообщества" людей. И Бродский выпал из своего поколения и остался один перед стихией. Где-то также одиноко стояла А.А. Ахматова, увидевшая его и признавшая в нем "своего", такого же отщепенца от мира. Это содружество одиночек удивительно, может быть, оно и есть единственный вид родства, родства гораздо теснее кровного, древней, чем родство по общему земному предку, — родства по общей Вечности. Ей посвятит Бродский свое изумительное "Сретенье" — какое-то необычайно чистое и целомудренное обращение уже не к женщине, не к поэту, но к Пророчице.

Но это все будет потом, а тогда, в начале пути, Бродский, видимо, просто почувствовал это поэтическое избранничество и, почувствовав, принял этот путь без надрыва и деклараций, как единственно для себя возможный:

**"Один певец подготавливает рапорт.
Другой рождает приглушенный ропот,
а третий знает, что он сам лишь рупор..."**

Может быть, самое удивительное в поэтической судьбе Бродского — это необычайно раннее осознание им сути поэтического творчества не как "теургического служения" символистов, не как Цветаевского пронзительного одиночества "певца и первенца", но понимание, наиболее созвучное умудренному Пастернаковскому. Это понимание определило, по-видимому, и раннюю зрелость и глубину поэзии Бродского, и его судьбу. В сущности в ней нет ничего необычного. Узколюбое "теперь" не может мириться с любыми попытками выйти за пределы, им опре-

деленные. Это посягательство на его самость, на его неразрушимую уверенность, что очередной уродец, склеенный из осколков, — единственно возможное и совершенное целое. Мышление "теперь" двумерно, оно может понять лишь то, что находится в его плоскости: либо создаваемое совпадает с его устремлениями, и тогда оно принимается, либо оно противоположно им — тогда оно признается враждебным и подлежит уничтожению. И то, и другое понятно, оно укладывается в рамки четко определенных категорий теорий "отражения", "познания" и прочих логических конструкций. Но все, что находится вне этой плоскости, выпадает из привычного "табеля о рангах", его нельзя однозначно определить в выбранной системе координат, оно необъяснимо и, как всякое необъяснимое, страшно. Ибо в основе двумерного мышления — самая примитивная магия, заговор всего, что не укладывается в его куцую эмпирику. Конечный результат такого мышления — абсурд, смысловой тупик. Бродский чувствует это предельно остро, может быть, потому так близок ему Андрей Платонов с его "тупиковой философией в языке", о которой блистательно говорит он в крошечном, но удивительно точном и емком предисловии к Платоновскому "Котловану". "Бытие в тупике ничем не ограничено, и если можно представить, что даже там оно определяет сознание и порождает собственную психологию, то психология эта прежде всего выражается в языке". ("Котлован", Ardis, 1973)

Это замечание относится столь же к Платонову, сколь и к самому Бродскому, с той лишь разницей, что в последнем случае мы имеем обратную картину — не тупик, а прорыв в бесконечность. И так же как у Платонова разрушается нормальный язык в соответствии с тупиковой ситуацией, у Бродского стремление к цельности заставляет его разрушать привычный поэтический синтаксис. Язык его необычен, и сказывается эта необычность прежде всего в удлинении "поэтической синтагмы" — образно-смысловой единицы его стиха. Бродский хочет как бы вобрать в нее все возможное, исчерпать предмет, дать

его во всей целостности, в одной завершенной поэтической формуле. Фраза растягивается на строфу, на две, на три, иногда целое стихотворение состоит из такого образа-фразы. Причем она неразрывна, из нее нельзя вычленивать какую-либо часть без разрушения гармонии и смысла:

**"Имяреку тебе, — потому что не станет за труд
из-под камня тебя раздобыть, — от меня, анонима,
как по тем же делам: потому что и с камня сотрут,
так и в силу того, что я сверху и, камня помимо,
чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса —
на эзоповой фене в отечестве белых головок,
где наощупь и слух наколот ты свои полюса
в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок;
имяреку тебе, сыну вдовой кондукторши от
то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли дворовой,
похитителю книг, сочинителю лучшей из од**

**на паденье А.С. в кружева и к ногам Гончаровой,
слововержцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы,
обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфоделей,
белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы,
одинокому сердцу и телу бессчетных постелей —
да лежится тебе, как в большом оренбургском платке,
в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма,
понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,
и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима".**

Хотя за этой струящейся, переливающейся фразой идут еще восемь строк, но стихотворение могло бы окончиться здесь, настолько полным и завершенным становится образ.

Бродский делает этот прием одним из основных, постоянно усложняя его. В "Большой элегии" Джону Дону он использует в основном перечисление, бесконечно насыщая единый образ новыми подробностями:

**"Повсюду ночь: в углах, в глазах, в белье,
среди бумаг, в столе, в готовой речи,
в ее словах, в дровах, в щипцах, в угле
остывшего камина, в каждой вещи.**

**В камзоле, в башмаках, в чулках, в тенях,
за зеркалом, в кровати, в спинке стула,
опять в тазу, в распятьях, в простынях,...**

Точка в конце фразы отнюдь не означает завершенности ее, логической остановки; кажется, поэту просто не хватает дыхания, и она — лишь пауза для вдоха при дальнейшем перечислении новых и новых подробностей. Бродский открывает заново каждую деталь, каждую мелочь, возвращая миру его многообразие и полноту. Возникает ощущение, что сам процесс называния предмета доставляет ему радость, утверждая его существование в мире. Но он идет еще дальше в расширении образа, вводя в него целые ассоциативные ряды. Обращение к предмету стихотворения для него действительно уже "лишь повод проникнуть в другие сферы". Мысль Бродского движется путем аналогий, и в классическую триаду субъект-объект-предикат он умудряется вместить целый и совершенно иной мир:

**"Через двадцать лет — ибо легче вспомнить
то, что отсутствует, чем восполнить
это чем-то иным снаружи.
Ибо отсутствие права хуже,
чем твое отсутствие — новый Гоголь,
насмотреться сумею бесспорно вдоволь,..."**

Поэт не в силах удержать всего, что его переполняет, он должен выплеснуть это немедленно, сейчас, в данном стихе, снять "тяжесть с плеч", его просто разрывает от мыслей, образов, чувств, слов,..."дайте мне кислороду!"

Однако при всей образно-смысловой насыщенности стиха Бродский чрезвычайно заботится о стройности его формы. В формальном отношении стих его безупречен, внешне спокоен, фразы необычайно текучи, может быть, благодаря своей удлинненности он предельно аккуратен в выборе рифм, в использовании слов, что обычно является показателем поэтической культуры. Бродский не просто владеет словом, как, возможно, никто из современных русских поэтов, он чувствует его вес, вкус,

его плоть, как бы материализует слово. У него практически не встречаешь неологизмов, поэт вполне обходится словарем первого порядка, открывая новое в самом слове, в их сочетаниях, часто оживляя слова давно ушедшие (как в "Послании к стихам", в "Подражании Кантемиру" и т.д.). Бродский всегда остается в рамках русской силлаботоники, независимо оттого, пишет ли он белым или рифмованным стихом. Ломая поэтический синтаксис, он сохраняет ритмическую организацию, свойственную русскому стиху, достигая напряженности в самой словесной ткани, в насыщении поэтического образа, в наложении ассоциаций, дающих как бы третье, четвертое измерения.

Рядом с этими до вибрации насыщенными стихами совершенно неожиданными становятся удивительные по своей классической простоте и раскованности "Письма к римскому другу". Не знаешь даже, с чем сравнить их — с античной ли "золотой латынью" или с классической японской танка. После напряженности его обычного стиха, эти восьмистишия Бродского поражают своей свободой, легкостью, музыкальностью. В них полная завершенность и в то же время какая-то необычайная открытость, оставляющая за строкой гораздо больше, чем сказано. Это тоже целостный мир, но мир настроения, ощущения, оттенков и полутонов, где господствует совсем иная стихия — воздуха, прозрачности, света:

**"Вот и прожили мы больше половины.
Как сказал мне старый раб перед таверной:
мы, оглядываясь, видим лишь руины.
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.**

**Был в горах, теперь вожусь с большим букетом.
Разыщу большой кувшин, воды налью им.**

**Как там в Ливии, мой Постум, или где там?
Неужели до сих пор еще воюем!"**

Простые слова первого порядка, полное отсутствие метафор, обычный шестистопный хорей с чередованием пир-

рихийев — а стихи поют, на наших глазах совершается магия слова, преобразование его в то самое недостижимое Целое. Может быть, за эту магию А.А. Ахматова называла стихи Бродского "волшебными".

Сегодня Бродскому тридцать пять — "возраст мужа", пора зрелости. Уже три года живет он в маленьком университетском городке, "гордящемся присутствием на карте" Соединенных Штатов. Может быть, это и не лучшее место для русского поэта, но, по крайности, можно быть уверенным в том, что не повезут его "в кровавой рогоже на полной подводе", не вынут мертвым из петли в какой-нибудь Норинской, не бросят в братскую яму с биркой на ноге, — "пятерка шестых остающихся в мире частей", к счастью, пока еще не дошла до такого рода доказательств своей правоты и силы. Сегодня Бродский свободен той степенью свободы,

"когда забывается отчество у тирана".

На сколько хватит ему этой свободы, нельзя постоянно жить забвением, вспоминается ведь гораздо больше и чаще. Ностальгический комплекс? — Не слишком часто, но сказывается он и в новых стихах Иосифа Бродского:

**"совершенный никто, человек в плаще,
потерявший память, отчизну, сына..."**

вечный пассажир там,

**"где у Софии, Надежды, Веры
и Любви нет грядущего..."**

Изгнание — тяжелый крест, для поэта, может быть, наиболее тяжелый. Правда, то, что делает в поэзии Бродский, вненационально, но основа, на которой это вненациональное и вечное только и может создаваться, национальна всегда, так же как национальна история, тип культуры и мироощущение, и, наконец, то основное, в чем все это выражается, — язык. Вряд ли написал бы Набоков "Лоли-

ту", не будь перед ней стихов, "Дара", "Других берегов", не будь его детства и его России, к которой он постоянно возвращается. Бродского тоже пока держит его край "балтийский болот", что "хранит от фальши сердце". Дай ему Бог сохранить в себе этот край навсегда. Для самого себя, для своей поэзии, для читателей его и почитателей в этом краю, что ждут его стихов; они-то знают: "когда лица не видишь... острее воспринимаешь голос".

Любовь к классификациям, к систематике (которая, кстати сказать, тоже идет, вероятно, от стремления человека к цельности и полноте) заставляет нас проследить генеалогию, копаться в формальных соответствиях, втискивая поэта в свою клеточку довольно искусственной системы школ и направлений. Бродского часто называют продолжателем традиции "Петербургской школы". Трудно сказать, на чем основано столь рискованное определение. Формальные изыски могут увести сколь угодно далеко. Можно, скажем, проследить близость стиха Бродского и к Б.Л. Пастернаку — и в метафоричности его:

**"Пятерней по лицу
провожу. И в мозгу, как в лесу,
оседание наста".**

и в ритмике и общем образном строе:

**"Кто был тот ювелир,
что, бровь не хмуря,
нанес в миниатюре
на них тот мир,
что сводит нас с ума..."**

Можно было бы соотнести его изумительное "Тихотворение мое, мое немое" с Цветаевскими "Как разгорается, каким валежником..." и "Молодостью". Можно и вообще выйти за пределы отечественной литературы и соотносить Бродского с англоязычной поэзией, и такое соотношение тоже будет в какой-то степени оправдано. Однако подоб-

ные изыски вряд ли нужны, потому, видимо, что в творчестве большого поэта можно найти все.

На определенном уровне понятия поэтической школы, направления теряют смысл, поэзия перерастает их, ибо они тоже временны и, как все временное, принадлежат определенному "теперь". И если можно говорить о какой-то традиции, то, вероятно, лишь о традиции одиночек, преемственности в них Поэзии как таковой, стоящей вне школ, направлений, национальных и временных границ. Такую традицию Бродский несомненно продолжает, если вообще не слишком рано говорить об этом.

ИЗ ПРОШЛОГО



ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ

Отрывок из книги "Покинутая Россия"

На этот раз я выходил из райкома в превосходном настроении. В боковом кармане приятно оттопыривалась только что врученная мне кандидатская карточка. Даже на фото против обыкновения я получился вполне респектабельным — такая уверенная и довольная собой личность.

Секретарь райкома Рябинин держался легко и весело. Задал мне один-единственный вопрос — читал ли я классиков марксизма по первоисточникам. На что я ответил, что читал. А Гегеля и философию сдавал дважды — один раз в юридическом, другой раз — в полиграфическом институте.

— А себе что-нибудь оставили? — засмеялся Рябинин и, оглядев членов бюро, сказал: — Что, товарищи, есть предложение принять — вполне образованный марксист.

Это были последние дни марта 1956 года. Стояла ранняя весна. Под лучами теплого немартовского солнца таял снег, и на мостовых появлялись первые ручьи. Я не спеша шагал по улице Чехова и, заложив за спину руки, победно оглядывал прохожих. Жизнь складывалась не так уж плохо. И все благодаря тому, что я не пал духом. Конечно, Ликовенков, воспользовавшись своими связями в МК партии, устроил нам с Алексеем Аустерлиц. Но что, Алексей разве перестал от этого быть личностью и разве дело не оборачивалось так, что победитель теперь вынужден был служить побежденному, издав приказ о моем назначении корреспондентом московского отдела радиосообщений. И что плохого в том, что вера в партию и XX съезд совпала у меня с верой в самого себя.

Молодость наивна. Но в том и сила ее, что о бытии она способна мыслить простыми и однозначными категориями. Философия жизни не для нее. Возможно, поэтому молодость не знает сомнений. И именно потому она счастлива.

В студенческие годы я действительно читал кое-что Гегеля. Я мог, потрясая своих хорошеньких приятельниц эрудицией, размышлять вслух о его триаде и законе отрицания отрицания, доказывая, что гегелевский тезис, антитезис и синтез и есть суть бытия. Единственно, над чем не задумывался, что сам я лишь один из подопытных кроликов, на которых, сколько существует мир, диалектика выделяет свои нескончаемые выкрутасы. Я был мудрым гегельянцем для других, но сам для себя оставался наивным метафизиком, полагающим, что главное в жизни быть сильной личностью и уметь непреклонно идти к цели. Теперь, оглядывая прошлое, вижу, что я и есть лучший пример отрицания отрицания, ибо всю жизнь менял кожу ради того, чтобы найти самого себя.

Начать хотя бы с 56-го года. Вступив в партию и обретя веру, я почувствую, как под теплым мартовским

солнцем у меня в жилах заиграет кровь, и навсегда отрекусь от того разуверившегося неудачника, кем я был в течение нескольких лет после окончания института.

Казалось, наступает новый этап в жизни, несущий с собой личное удовлетворение, веру и идеалы. Но на смену 56-му году придет осень 57-го, когда без всяких оснований, а точнее лишь потому, что еврей, меня привлекают к партийной ответственности по так называемому делу Великовского.

Оставшись на полгода без работы с выговором от КПК и без надежды устроиться, я несколько изменю свое мнение о том самовлюбленном карьеристе, который еще недавно с видом Наполеона выходил из Свердловского райкома партии.

Пять месяцев окажутся достаточными, чтобы я на собственной шкуре почувствовал гримасы гегелевской триады. И далее все пойдет в таком же роде — мой неутомимый дух будет искать для того, чтобы отрицать, и отрицать найденное, чтоб продолжать искать, пока не обретет сегодняшнее свое состояние, которое на языке Гегеля можно было бы выразить так: идея путем длительного саморазвития постигает самое себя.

Такова в общем виде моя философская синусоида, которую далеко не просто уложить в рамки реальной жизни.

Жизнь куда сложнее философских систем, и если, по образному выражению Бруно Яссенского, человек и меняет кожу, то никому не дано проследить, как и когда именно он это делает. Поэтому можно, конечно, сказать, что, когда весной 57-го года мне позвонил заведующий приемной "Советской России" Безуглов и сказал, что у него есть потрясающий материал для фельетона и что этот материал мне тотчас принесет сам пострадавший, Лауреат Сталинской премии Великовский, — так вот, если рассматривать все происшедшее как простую цепь случайностей, — можно, разумеется, сказать, что именно в этот день и была заминирована моя вера в идеалы XX съезда, которая с такой силой подорвется на заседании

Комитета партийного контроля. Но если быть более последовательным диалектиком, то нельзя не предположить, что эта мина была подложена гораздо раньше. И если еще не в военном лагере, то уж наверняка ее часовой механизм затикал, когда я очутился в московском отделе радиосообщений и когда мои мечты о журналистской деятельности столкнулись с реальной жизнью.

Ко дню моего перехода на новую работу в моей голове уж созрел идеал журналиста. Я никогда его не видел в жизни и, уж во всяком случае, не увидел в редакции радиосообщений, но именно таким хотел стать сам — воителем и правдолюбом, борющимся с пороками общества и действующим по голосу совести. По-видимому, во мне уже тогда причудливо сочетался неуживчивый критический дух с наивным идеализмом ребенка, неустанно мечтающего о каком-то прекрасном и неизвестном ему поле деятельности, где сможет наконец проявить себя его активная и жаждущая борьбы натура.

В отделе радиосообщений я застал воителей особого рода, которые весь свой ратный пыл тратили на борьбу друг с другом.

К марту 56-го года здесь было сменено руководство, и на место бывшего председателя московского радиокomiteта (так он назывался до преобразования в отдел радиосообщений) бывшего моряка и журналиста Калмыкова пришел бывший завсектором печати МК КПСС Дмитрий Семенович Пахомов.

Калмыков был талантливый остряк, балагур и любимец коллектива. Хотя в этом коллективе были и группы, и группки, но Калмыков благодаря личному авторитету и обаянию умел пресекать интриги на корню. Единственно, что за ним числилось, — он был не дурак выпить, что, впрочем, никак не лишало гармонии его цельную веселую натуру, но что помогло Ликовенкову с треском его снять с работы.

Дмитрий Семенович был длинный, глуховатый и слегка заикающийся человек. Он не пил, никогда не ра-

ботал журналистом. И до него, как до жирафы, на которую внешне он был очень похож, все доходило в замедленном темпе. К чести Дмитрия Семеновича он этого обстоятельства и не старался скрыть. И когда на совещаниях, которые он проводил каждый день, разгорался спор и кто-нибудь чего-нибудь недопонимал, он любил вставлять одну и ту же не лишнюю остроумия фразу: "Ну, товарищи, это, кажется, понял даже я".

Что касается его взаимоотношений с работниками, половину которых составляли евреи после погрома, устроенного в 50-х годах на Всесоюзном радио, то он недвусмысленно давал понять, что такой "несправедливости" не потерпит и так же, как и на Всесоюзном радио, проведет чистку у себя.

Начал с самого пробивного и несимпатичного ему Исаея Осинковского, но тотчас потерпел фиаско. Маленький Исай, уволенный Дмитрием Семеновичем, вскоре восстановился по суду и после восстановления написал на Дмитрия Семеновича жалобу в ЦК.

Тогда Дмитрий Семенович перешел к длительной атаке и стал ущемлять интересы своих противников. В агитпроп ЦК пошли анонимные письма. Борьбу против Пахомова и "пахомовцев" теперь возглавил старый коммунист Михаил Михайлович Глушков. Для этого у него были свои, сугубо личные причины. Михаил Михайлович считал себя непризнанным сатириком. Но, не сумев опубликовать произведение своей жизни "Живые души", насчитывавшее свыше тысячи страниц и 170 персонажей, он обрушил свою желчь на Дмитрия Семеновича и его окружение, переставшее допускать Михаила Михайловича в эфир.

В агитпроп ЦК уже шли не только письма, но и анонимные пьесы. Главными героями были сам Дмитрий Семенович и инструктор отдела пропаганды МК партии Александра Петровна Королева, курировавшая отдел радиосообщений. В этих пьесах Пахомов и Королева вели нескончаемую войну с корреспондентами Левитиным, Лерманом, Майзлиным, Осиновским. Борьба

эта, как правило, заканчивалась одним и тем же вопрошающим рефреном Дмитрия Семеновича: "Так когда же, Саша, мы прикончим эту компанию, несет она России одни только беды?" — "Скоро, Дима, скоро, дай только, милый, срок!"

Я не уверен, что Михаил Михайлович, оказавшийся в конце концов в психиатрической больнице, уже тогда не был душевно больным, хотя он и возглавлял штаб народной дружины Свердловского района.

Но совсем недавно я о Глушкове вспомнил снова, когда попался мне роман Ивана Шевцова "Во имя отца и сына". Было много общего в произведениях сумасшедшего правдолюбца Михаила Михайловича Глушкова и черносотенных писаниях Шевцова, хотя одни оседали в архивах МГК и ЦК, а другие шли массовыми тиражами на книжный рынок. И тот, и другой — каждый по-своему — отражали реальные настроения, царившие среди многих власть имущих советского общества.

Об этом я еще буду писать, а пока хотел лишь представить тот коллектив "воителей и правдолюбцев", в среде которого я оказался в марте 56-го года.

Надо было видеть лицо Дмитрия Семеновича, когда после приказа Ликовенкова я пришел выяснить, с какого числа мне выходить на новую работу.

— Как фамилию-то назвали — Перельман? — прижал ладонь к уху Дмитрий Семенович. — Где-то я уже слышал эту фамилию, а? — Он молча почесал затылок. — Ну и, значит, хотите выходить на работу... А куда выходить-то хотите?

— Как куда? В отдел радиоинформации.

— Ну, это понял даже я, — улыбнулся Дмитрий Семенович. — А вот на какую штатную "единицу" хотите выходить? У меня ведь нет ни одной — как говорят доминошники, "пусто-пусто"...

Так и ушел я, не солоно хлебавши. После чего последовала целая серия звонков — от Ликовенкова Дмитрию Семеновичу, от Ликовенкова в МК КПСС. Из МК партии опять Дмитрию Семеновичу, пока тот,

не выдержав наконец натиска, не дал согласия на мое зачисление.

Когда я пришел к нему во второй раз, он, заикаясь, сказал мне "здравствуйте" и тотчас подвел к развешанной по всей стене карте Московской области. Он долго что-то выискивал. Наконец удовлетворенно ткнул ручкой в верхний угол:

— Во!

— Что "во", Дмитрий Семенович, — спросил я, впрочем уже догадываясь, что означал этот его жест.

— Во где будете работать, — простодушно улыбнулся Дмитрий Семенович, не замедлив подтвердить мои сомнения.

Он сказал, что для всестороннего освещения жизни села после Сентябрьского пленума ЦК КПСС создается группа кустовых корреспондентов в составе товарищей Осинковского, Лермана, Левитина, Майзлина и В.в.в...ас — закончил Дмитрий Семенович все с той же озарявшей его лицо улыбкой.

Через несколько дней я выехал в свой "куст", объединявший Высоковский, Клинский и Солнечногорский районы. И, как мне было велено, передал по телефону первые шесть информации о ходе сева в западных районах Московской области. Над каждой из них сидел по целому вечеру, по десять раз переставлял фразы, обсасывая каждое слово. Но когда приехал в Москву, то с огорчением узнал, что прошла из них только одна и притом только три строки из нее, а именно, что в колхозе "Борец" (или имени Ленина), не помню точно, сев провух прошел в сжатые сроки и при хорошем качестве полевых работ.

Присутствовавший рядом Исай Осинковский саркастически усмехнулся и похлопал меня по спине:

— Наивный ребенок, он думает: главное написать. Лично я за неделю сдал 12 материалов, но ни один не пробил сквозь кордон пахомовцев.

Подошел Михаил Михайлович, как всегда с невозмутимым лицом щелкающий семечки, семечки были

его страстью. И, пошептавшись о чем-то с Исаем, вдруг повернулся ко мне:

— Пора, молодой человек, и вам включаться. Помните, отсидеться никому не удастся. Вопрос стоит так — или мы пахомовщину, или пахомовщина — нас.

Появился Дмитрий Семенович и сделал вид, что он меня не видит, подошел к Осиновскому.

— Исай Борисович, вы же сказали, что вы болен и не можете ехать на куст.

— Это утром я был болен, Дмитрий Семенович, а сейчас уже здоров.

— Вы болен, Исай Борисович, и потому прошу оставить редакцию.

— Я абсолютно здоров, Дмитрий Семенович.

— Ну хорошо! — сказал Дмитрий Семенович и удалился.

Продолжая с невозмутимым лицом щелкать семечки, Михаил Михайлович бросил ему вслед:

— Бериевец!

В борьбу с Пахомовым я так и не включился, но и вкус к большому эфиру, о котором еще недавно так мечтал, кажется, утратил навсегда. То есть внешне все оставалось по-прежнему. Раз в неделю я выезжал на "куст", привозил репортажи, которые обычно долго лежали и, в конце концов, не шли. Записывал выступающих у микрофона, но к тому времени область моих интересов была уже иной. И именно эта моя страсть, заложенная, по-видимому, в моих бродильных генах, привела меня к делу Абрама Великовского.

А началось все с того, что встретил я как-то на Петровке своего старого знакомого по институту Толю Безуглова. На третьем курсе мы занимались в одном и том же научном кружке по советскому государственному праву. И даже в один день сделали на кружке доклады. Мой — о соотношении права и экономики — вызвал восторженный отзыв руководителя кружка профессора Кравчука, Толин — о всеобщем избиратель-

ном праве в СССР — он подверг уничтожающей критике. И хотя читал Толя, мощно сверкая своими крупными цыганскими глазами и таким голосом, будто каждой фразой прокладывал новые пути в юридической науке, профессор Кравчук сказал, что товарищ очень огорчил его, поскольку просто взял и все переписал из довоенного учебника. Впрочем, это нисколько не помешало Толе — выходцу, как он всем говорил, из донских казаков — оказаться после института в прокуратуре СССР, в должности прокурора уголовно-судебного отдела.

Увидев меня, он необыкновенно обрадовался, рассыпался в комплиментах по поводу моего доклада и, узнав, что я пишу культпросветповесть, сказал, что через него в прокуратуре проходят великолепные материалы. "Сэнсация! (Вместо "е" у него получалось "э"). И все гибнет. Сокровища, Витенька, гибнут (вместо "щ" у него получалось "ш"). Может быть, скооперируемся? Твоя голова, мои — материалы. Ваш бензин, наш — автомобиль".

На другой день Толя принес дело, которое потрясло меня. И залпом за одну ночь, сев за стол вечером и поднявшись где-то к пяти утра, я написал статью.

Это было дело об убийстве, совершенном в Лихоборах пятидесятилетней Валентиной Семеновной Тихомировой. Воспользовавшись отсутствием сына, она задушила свою двадцатилетнюю невестку и, чтобы ввести в заблуждение следствие, пыталась представить это как самоубийство. Всего более потрясали мотивы преступления. Обожавшая сына, Валентина Семеновна с первых же дней возненавидела бесприданницу-невестку, приведенную им в дом. Она мечтала о другой партии для него и, чтобы разбить семью, вначале задушила трехмесячного внука, а затем пошла и на убийство невестки, совершив преступление днем, почти на глазах у соседей.

В папке старых газетных вырезок у меня сохранился пожелтевший и ставший для меня уникальным экземпляром "Труда", датированный 27 мая 1956 года. В этот

день после долгих мытарств по редакциям центральных газет "Дело Тихомировых" наконец увидело свет.

Это был мой первый в жизни фельетон, первый дебют на журналистской ниве, и, верно, поэтому в памяти сохранились многие занятные подробности.

27 мая было воскресенье. Еще утром, обнаружив статью на витрине у Петровских ворот, я помчался к ближайшему киоску "Союзпечати" и скупил все двадцать оставшихся экземпляров "Труда".

Когда киоскер их отсчитывал, я так и жаждал услышать из его уст вопрос: "Зачем же так много, молодой человек?" Но вопроса не последовало, и, не выдержав, я спросил сам: "Вы не читали сегодняшнего "Труда", в нем потрясающий материал!"

Но киоскер не повел и ухом, и, забрав всю пачку, я отправился вниз по Петровке. Я не пропускал ни одной витрины "Труда" и жадно вглядывался в лица каждого, кто останавливался и читал статью. Таких становилось все больше, материал был явно сенсационным. Я это чувствовал. Если витрину обступало сразу несколько человек, то испытывал подлинное наслаждение. Мне хотелось крикнуть, что это моя статья. Но я понимал, что это невозможно, и пытался тут же, у витрины завести о ней разговор, чтобы как-нибудь вскользь все-таки ошарашить этих людей своим присутствием.

Я позвонил Безуглову, чья подпись первой стояла под фельетоном, и был оскорблен в лучших своих чувствах, услышав по телефону его сонный голос. Он только от меня узнал, что статья появилась, но, разумеется, очень обрадовался. Тут же встретившись, мы сели в метро и поехали в парк культуры. Почему именно туда, не знаю.

В парке зашли в ресторан "Поплавок" и выпили. То есть пил я один, Безуглов сказал, что у него большая печень, поэтому он меня поддержит лишь символически, и заказал себе отварную курицу. После ресторана настроение поднялось еще больше.

Мы познакомились с какими-то молоденькими

студентками, и, усадив их на лавочку, тут же всучили им газету с "Делом Тихомировых", и заставили их при нас же прочесть, сохраняя молчание по поводу главного.

— Ну а теперь, девушки, — торжественно сказал Безуглов, — я представлю вам автора этого сенсационного материала, молодого, но уже достаточно маститого писателя Виктора Борисовича Перельмана.

Я пытался ответить ему тем же, но так у меня не получалось.

— Я что? — скромно улыбался Безуглов, сверкая жгучими цыганскими глазами. — Вот Виктор Борисович (вместо "и" у него часто получалось "ы") — это да, фигура, восходящая звезда!

Не помню, как мы расстались с девицами, куда отравились из парка культуры. Но вечером очутились где-то у Зацепы, в малознакомой нам компании. Вошли с триумфом.

— Прошу дорогу, товарищи, дорогу! — весело шумел в прихожей Безуглов. — Идут авторы "Дела Тихомировых", не читали? Прочтите, прочтите обязательно. Вот Виктор Борисович может дать вам интервью по этому поводу.

За столом к нам без конца подсаживались, спрашивали — неужели это все правда?

— Разумеется, — отвечал я, напуская на себя полнейшее безразличие.

— А как вы все это писали?

— Как, очень просто, авторучкой, — снисходительно улыбался я, чувствуя себя на вершине блаженства.

За 16 лет у меня вышли сотни статей и фельетонов. По общественному звучанию многие из них далеко превзошли "Дело Тихомировых", но я не помню, чтобы когда-нибудь еще пережил подобное состояние.

Мне казалось, что судьба решила разом воздать мне за все постигавшие меня в прошлом неудачи. Звонили друзья, родственники, и все считали нужным подчерк-

нуть, что хотя материал и сам по себе сенсационный, но вместе с тем великолепно написан.

Кленов говорил, что, наконец-то, я нашел себя и что у меня природный талант публициста и именно в этом жанре я сумею добиться многого. Но более всех я чувствовал это сам. И всякий раз, когда мне предстояло ехать теперь на "куст" и писать о "дружной самоотверженной работе" сельских тружеников, у меня заранее портилось настроение. Я хотел писать о том, что вызывало у читателей гнев и сарказм. Другим говорил, что ничего не могу с собой поделаться — такие уж у меня гены. Теперь мне кажется, что в этой шутке была доля правды.

Встречаются природные оптимисты, для которых мир всегда окрашен в радужные тона. Мой генетический заряд, по-видимому, плохо поддавался управлению извне и оставался отрицательным даже тогда, когда сам невдохновленный решениями XX съезда, преисполнялся оптимизмом. Вот это я и называю своими "бродильными генами", которые в 56 году толкнули меня на неблагодарную и рискованную стезю газетного фельетониста.

На XIX съезде партии Маленков говорил, что "советской литературе нужны "свои гоголи и Щедрины", которые бы огнем сатиры выжигали пороки и пережитки, живущие в сознании людей. Гоголи и Щедрины, на их счастье, так и не появились в советской литературе. Но что их ждало, нетрудно представить, если вспомнить судьбы многих сатириков — от выдающихся, как Михаил Зощенко, до мало кому известных, как фельетонист "Литературки" Круглов, осмелившийся приподнять завесу над нравами, бытующими в среде советских кинодеятелей.

Подвергавшийся систематической травле, Зощенко так и умер, забытый всеми в своей старой ленинградской квартире. Признанный после многочисленных разборов клеветником. Круглов кончил жизнь самоубийством, выбросившись с седьмого этажа из окна редакции.

ДЕЛО АБРАМА ВЕЛИКОВСКОГО

В 56 году я опубликовал в "Труде" целую серию фельетонов. Брался за все, что, по моему разумению, могло высечь искру в душе читателя. Писал о сектантах-пятидесятниках, о вагонных "нищих", сколачивающих капиталы на наивной доброте пассажиров, о чиновниках из Минлесбумпрома, уподобивших свою снабженческую базу тыняновскому поручику Кижее... И всякий раз, когда я приносил новый материал, заведующий отделом фельетонов знаменитый в то время Вяч. Сысоев устраивал мне допрос:

— Так, значит, говоришь, правы мы?

— Святая истина! — отвечал я.

— А откуда это видно? — читая фельетон, бурчал он. — Истина, истина... а где техника безопасности? Ты знаешь, кто такой фельетонист? Фельетонист — это канатоходец, чуть что — и вниз башкой.

Афоризм этот я усвоил быстро и, прежде чем сдавать фельетон, обычно долго и тщательно проверял факты и вместе с фельетоном тащил Вяч. Сысоеву целую папку бумаг, подтверждающих "нашу правоту". Но ни разу я не усомнился в другой, куда более важной вещи — а много ли стоит сама истина. Особенно в глазах тех, в чьих руках судьба фельетониста.

В деле Великовского истина лежала на поверхности, и Безуглов — он перешел к этому времени работать из прокуратуры в "Советскую Россию" — в нашем разговоре по телефону не уставал это подчеркивать:

"Такое дело, Витенька, бывает раз в сто лет! Он — Лауреат Сталинской премии, начальник управления Министерства легкой промышленности, на его стороне вся общественность. Она — квартирная хулиганка, клеветница, на ее стороне — никто. Тем не менее она безнаказанно травит его уже в течение ряда лет. Отдаю тебе материал полностью, без соавторства, надеюсь, ты в долгу не останешься..."

В долгу я действительно не остался и в качестве платы вскоре написал за Безуглова фельетон в "Советскую Россию". Тогда я еще не знал, какую мину мне подложит явившийся буквально через час после безугловского звонка Великовский.

Меня вызвали из радиостудии, где шла запись, и я увидел невысокого, с длинной лошадиной челюстью брюнета в очках, скромно поджидавшего меня у дверей, с таким же, как и он сам, respectable портфелем в руках.

— Виктор Борисович?— обратился он ко мне низким густым басом и подал мне свою маленькую руку. — Великовский Абрам Семенович из Министерства легкой промышленности СССР.

Я увидел на лацкане его пиджака значок Лауреата Сталинской премии.

Скоро мы сидели за столом, и, положив передо мной толстую папку с документами, он подробно и точно, будто докладывая на коллегии министерства, вводил меня в курс постигших его неприятностей. Но он бы мог и ничего не рассказывать. Вложенная в папку целая кипа писем его соседки по квартире Надежды Сергеевны Ивановой говорила сама за себя.

Уже из первого письма, адресованного в Бауманский райком партии, Моссовет и партком Министерства легкой промышленности СССР, следовало, что она, Иванова, не первый год страдает от семьи Великовских и его родственников, живущих с ним в одной квартире на Солянке. Великовские не дают ей пользоваться газовыми горелками и ванной, терроризируют ее детей. Пользуясь высоким положением Великовского, они поставили целью сжить со света Надежду Сергеевну, а вместе с ней и ее второго мужа, честного русского рабочего Иванова, ставшего родным отцом ее "малолетних сирот".

Судя по первому письму, Иванова выглядела заурядной кухонной склочницей, каких полным-полно в коммунальных московских квартирах.

Но это оказалось не совсем так. Второе и третье

письмо уже были адресованы в Совет Министров СССР и ЦК КПСС. Все последующие направлялись по длинному перечню инстанций. В числе адресатов Надежды Сергеевны были первый секретарь ЦК КПСС Хрущев, председатель Совета Министров СССР Булганин, председатель президиума Верховного Совета СССР Ворошилов. И чем дальше, тем отчетливее звучали две основных темы. Одна — сам Великовский. В последних письмах Надежда Сергеевна обвиняла его ни больше ни меньше, как в том, что он отец ее младшего ребенка. Оказывается еще три года назад произошла следующая история. Надежда Сергеевна так бедствовала, что ей даже не на что было купить сиротам молока. И она решилась зайти по-соседски к Абраму Семеновичу, чтобы одолжить пять рублей, а он, отпетый негодяй, воспользовался ее тяжелым положением и заставил ее пойти на все. И "вот уже третий год растет у нее сын Великовского, а он не только не хочет знать его, но и всячески стремится замести следы преступления и затравить мать-одиночку..."

Другая тема, вначале звучавшая слабым пианиссимо, когда речь шла только о травле честного русского рабочего Иванова, вдруг зазвучала мощным крещендо.

"Многоуважаемые товарищи,— обращалась Иванова в высшие партийные и советские инстанции, — Великовский по национальности еврей. И жена его — тоже еврейка. И все, кто живет в нашей квартире, тоже евреи. Все они богатые, стоят друг за друга и над нами издеваются, потому что мы бедные русские люди. Можно ли терпеть такую несправедливость? За что сражались наши деды и отцы в 17 году? Неужели только за то, чтобы нашу кровь сосали всякие Великовские, Гуревичи, Гольдберги?"

Я намеренно цитирую эти письма. Пройдет немного времени, и они перекочат из папки Великовского в другую папку — с грифом Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. И на их основе будет создано совсем другое дело, которое, будучи преданным гласности, могло

бы прозвучать не меньше, чем дело Бейлиса, и в реальность которого я бы и сам никогда не поверил, не доведись мне стать его живым участником.

Для проверки жалоб Ивановой была создана специальная комиссия парткома Министерства легкой промышленности СССР, затем комиссия райкома партии. Обе пришли к выводу, что ни один из приведенных ею фактов не подтвердился и письма Надежды Сергеевны Ивановой — злостная и преднамеренная клевета на коммуниста Великовского.

Однажды вечером Надежда Сергеевна устроила в квартире дебош. Она распахнула дверь на лестницу и во всю мочь кричала, что евреи избивают русскую мать. Затем стала стучать в дверь к Великовским и угомонилась лишь после того как его семидесятилетняя мать свалилась с сердечным приступом. Жена Абрама Семеновича вызвала милицию, но к ее приходу — а это произошло через полтора часа — уже никаких следов дебоша не осталось, если не считать лежащей с приступом старухи Великовской.

Иванова, вызванная из своей комнаты сотрудниками милиции, сказала, что она ничего не знает, не ведает и что весь вечер она играла тихо с детишками и никого не думала тревожить. Тем не менее ей было сделано строгое внушение, ибо два часа подряд ходила ходуном вся лестничная клетка, и это подтвердили соседи и сверху, и снизу. Дело было решено передать в товарищеский суд, где Надежду Сергеевну пытались устыдить. Но она обрушилась с площадной бранью на председателя суда, пенсионера — военного отставника. На завтра же на него поступила жалоба в ЦК, что он куплен Великовскими, Гольдбергами и Гуревичами и позорит свое высокое звание бывшего офицера.

Последними в папке Великовского лежали два судебных документа: приговор народного суда по его жалобе на Иванову и коротенькое определение уголовно-судебной коллегии Мосгорсуда.

— Понимаете, Виктор Борисович, — басил над моим

ухом Великовский,— никогда ни с кем не судился. И теперь бы на это не пошел, если бы не прокурор города Белкин. Я пришел к нему на прием и, хотите верьте, хотите нет, едва сдерживаю слезы, ну что делать, что? Меня с нами никто не хочет, жить невозможно. Так вот он мне посоветовал привлечь Иванову к ответственности за клевету.

Нет пророка в своем отечестве, и даже прокурор города Москвы не мог предвидеть развития событий. Приговором народного суда Иванова была признана виновной в клевете, ей было вынесено общественное порицание. Но городской суд счел это обвинение необоснованным. Оказывается, Великовский не представил доказательств того, что в действительности не является отцом ребенка Ивановой, как это утверждала последняя, — и потому "наличие клеветы нельзя признать доказанным всеми материалами дела".

Я назвал свой фельетон "Докажите, если сумеете".

По иронии судьбы пафос этого заголовка обернулся против меня самого. В конце концов я сам оказался в положении Великовского, убедившись, что те, кто именует себя совестью партии, могут без особого труда превратить черное в белое.

Почти два вечера я проверял материалы фельетона, и в папке, которую я принес в редакцию, было столько документов, характеризующих личность Ивановой, что даже Вяч. Сыроев уверенно заметил: "Да здесь, мы, кажется, правы!"

Я исписал два блокнота и переговорил с десятками людей. В доме, где жил Великовский, говорили, что газете давно пора вмешаться, а председатель товарищеского суда, отставник-пенсионер заявил, что он сам готов куда угодно пойти, чтобы лично рассказать, что представляет собой Иванова. Мне уж из спортивного интереса хотелось услышать об Ивановой хоть одно приличное слово, но все точно сговорились в неприязни к ней. Единственно, с кем мне не удалось встретиться,— с самой Надеждой Сергеевной. Она явно увиливала от

знакомства со мной. Но стоило появиться фельетону, как на утро позвонила мне в редакцию.

Как она меня разыскала, одному Богу известно. Вяч. Сысоев посоветовал опубликовать фельетон под псевдонимом. "Сам видишь, что за штука, — сказал он, — ты хоть для своего же спокойствия стань кем-нибудь другим, только не Перельманом".

Преыдушие фельетоны я подписывал собственной фамилией, однако в словах Вяч. Сысоева был резон, и я превратился в Виктора Борисова. Но, услышав по телефону Надежду Сергеевну, я сразу понял, сколь наивны мы были с Вяч.Сысоевым: "Товарищ Перельман, это говорит ваша жертва, Иванова!"

Надежда Сергеевна потребовала, чтобы я в тот же вечер с ней встретился. И когда парадную дверь мне отворило щупленькое, тщедушное существо с тщательно примазанными волосами и благообразными чертами лица, я с трудом заставил себя поверить, что это и есть неутомимая в своей титанической борьбе Надежда Сергеевна.

— Вот и встретились... — радушно улыбнулась она и, наскоро натянув на нижнюю рубашку пальто, прикрыла сзади себя дверь в комнату.

— Надька, падла! — неся из комнаты тяжелый пьяный голос...

"Честный русский рабочий" — тотчас же понял я. Иванова вывела меня на лестницу и потребовала, чтобы я немедленно шел к какой-то ее свидетельнице, которая знает всю подноготную Абрама Семеновича. Свидетельницы не оказалось дома. Тогда Надежда Сергеевна стала требовать, чтобы я шел еще куда-то, где знают старуху Великовского. Я сказал, что это уже не имеет никакого отношения к делу, и идти отказывался. Надежда Сергеевна пристально посмотрела на меня и снова улыбнулась, как в ту минуту, когда отворила мне дверь:

— Так вот вы какой, Виктор Борисович, что они говорят — всему верите, а что я — на это чхать хотели... Что ж, тогда, до свиданья!

В письмах, которые снова пошли в партийные и советские инстанции, рядом с Великовским теперь неизменно фигурировало еще одно обвиняемое лицо — автор фельетона "Докажите, коли сумеете".

"Уважаемые товарищи, — писала Надежда Сергеевна, — Великовские знали, кого им найти для осуществления своих низких целей. Они нашли такого человека. Теперь всем известно, кто скрывается под честной русской фамилией Виктор Борисов".

Я читал эти послания, и впервые во мне зашевелился червячок сомнения: не напрасно ли я связался с этой личностью и не таит ли в себе действительной опасности то, чисто случайное совпадение, что мы оба — и я, и Великовский — евреи?

Письма Надежды Сергеевны стекались в отдел фельетонов "Труда". Но уже не к Вяч. Сысоеву, который неожиданно и тяжело заболел, а к новому заведующему Виктору Ефимовичу Сегалову, немолодому и очень милomu человеку, ранее работавшему в отделе быта.

— Вы подумайте, какая мерзавка! — возмущался Виктор Ефимович. — Просто хулиганка, ее только за антисемитизм расстрелять следует.

— Вот, Виктор Ефимович, с какими девушками приходится иметь дело.

Но ни он, ни я не могли предположить, что очень скоро найдется организация, где письма Надежды Сергеевны получают иную оценку.

Из Комитета партийного контроля ЦК КПСС нам с ним позвонили в один и тот же день, примерно месяца через два после опубликования фельетона. Разговор продолжался не более минуты. Я запомнил его лишь потому, что впервые услышал фамилию человека, который с этого дня меня уже не оставит в покое. И еще возможно, потому, что этот человек был на редкость любезен и предупредителен:

— Виктор Борисович! Извините, пожалуйста, беспокоит Тарасов из Комитета партийного контроля ЦК КПСС. У меня к вам просьба, не смогли бы к нам днями загля-

нуть? Когда? Да когда времечко выкроете. Только заранее позвоните, чтобы я пропущу заказал.

И так же хорошо сохранилась в памяти первая встреча. Миновав длинный коридор с ковровой дорожкой, в котором царила мертвая тишина, я увидел наконец дверь с табличкой, где была написана его фамилия, и робко приоткрыл ее: "Можно, к вам?" — "Разумеется, можно!" — он вышел из-за стола навстречу ко мне и так выразительно крепко пожал мне руку, будто не было для него более дорогого гостя, чем я.

В тот день я впервые в жизни попал в ЦК и с любопытством разглядывал своего собеседника. В лице Тарасова не было ничего запоминающегося, если не считать остреньких скул, на которых выступал едва заметный румянец. Очень прямая спина, казалось, даже мешала ему вести себя просто и непринужденно. Он держал перед собой "Труд" с моим фельетоном и улыбался.

— Ну что, Виктор Борисович, нехороший человек Иванова?

— Безусловно! — уверенно ответил я, не понимая, к чему он клонит.

— Ну а муж ее, Евгений Иванов?

Я вспомнил его пьяные крики из-за двери во время моего прихода в их квартиру и рассказы Абрама Семеновича, какие сцены тот устраивал по вечерам, и сказал:

— Пожалуй, тоже не очень — послушали бы, что рассказывает Великовский!

— Как вы сказали? "Рассказывает Великовский"? Ну, а Великовский, по-вашему хороший человек?

Я молчал, уже ничего не понимая.

— Думаю, что в общем, да, — теперь продолжал Тарасов, — Лауреат Сталинской премии. Начальник управления ведущего министерства.

— Вы еще не знаете, как его характеризует партком! — решил вставить я.

— Знаю, Виктор Борисович, знаю. У меня только один вопрос. Зачем Абраму Семеновичу понадобилось связы-

ваться с этой Ивановой, такой уважаемый, интеллигентный человек.

— Как зачем? — недоумевал я. — Так она же клеветала на него, вы читали ее письма?

— Читал, Виктор Борисович, читал.

Только теперь я увидел на столе Тарасова тоненькую папочку с письмами Ивановой.

— Ну, что вы скажете?

— А ничего не скажу, письма некультурного и не очень умного человека, — когда Тарасов говорил, кончики его скул краснели, а в глазах появлялся живой блеск. — А возьмите Абрама Семеновича — кандидат технических наук, ученый, неужели он ровня этой Ивановой? Нет, не ровня, так давайте и запишем, Виктор Борисович. А к вам мы, конечно, никаких претензий не имеем. Вы журналист, честный коммунист, но, между прочим, можно было и не выступать с этим фельетоном.

— То есть как?

— А вот так, Виктор Борисович, да уж ладно, что сейчас говорить, дело прошлое.

Прощаясь в этот первый раз с Тарасовым, я так и не понял, что он от меня хотел. Он снова вышел из-за стола и крепко пожал мне руку:

— Всех благ, Виктор Борисович, а насчет фельетона все-таки подумайте, стоило ли вам вмешиваться.

Не помню, сколько прошло времени между первой и второй нашей встречей. Вероятно, много, потому что я считал вопрос исчерпанным. "Труд" больше не трогали, и нового звонка из КПК никак не ждал. И не сразу даже вспомнил, кто такой Тарасов. Между тем все было точь-в-точь как в первый раз.

— Виктор Борисович? Тарасов, из Комитета партийного контроля. Как насчет того, чтобы заглянуть? Когда? Да когда будет удобно...

И встреча была такой же, как первая. Он вышел из-за стола и крепко пожал мне руку. Правда, в разговоре его появился какой-то новый оттенок, какой именно, я вначале даже не мог уловить. Я снова увидел ту же пап-

ку с письмами, что и в прошлый раз, но теперь она была значительно толще.

— Какие новости, Виктор Борисович? — улыбнулся мне Тарасов, как старому, доброму знакомому. — Что творим, что пишем?

Скорее, интуитивно, но я вдруг почувствовал, что дело принимает серьезный оборот, но какой именно и куда все может повернуться, разумеется, не знал.

— А за этот фельетон, говорю вам по-товарищески, напрасно брались. Кстати, как вы свои материалы обычно подписываете — Виктор Борисов или Виктор Перельман.

— Виктор Перельман.

— А чего этот вдруг Борисовым подписали? Но это я так, к слову.— И Тарасов извлек из папки знакомый номер "Труда".

— Просто никак не пойму, зачем нашей рабочей газете потребовалось защищать Великовского. Что он сам за себя не постоит? И главное, знаете, по ком удар пришелся? По мужу Ивановой. Хороший, честный производственник, из лучших побуждений усыновил детей, а теперь, говорит, стыдно товарищам по заводу на глаза попадаться.

— Так он же пьяница, я сам был свидетелем, — прервал я Тарасова.

— Да почему же пьяница? Выпил под праздник рюмку, а мы сразу — пьяница...

— Совсем и не под праздник, — не хотел уступать я.

— Не под праздник? Ну все равно... Человек стал отцом для чужих детей — вот в чем суть!

— Но согласитесь, что Иванова — клеветница и хулиганка, — не сдавался я.

— Какая там клеветница. Она вчера сидела вот тут на вашем месте, все о себе рассказывала. Просто отсталая замотанная женщина. А Великовский — коммунист, образованный человек! Мы тут советовались с товарищем Богоявленским — совершенно неправильно вел себя Абрам Семенович.

— А кто такой Богоявленский?

— Товарищ Богоявленский — помощник Николая Михайловича Шверника.

Тарасов посмотрел на меня внимательным взглядом, точно хотел удостовериться, возымело ли на меня действие его упоминание о Богоявленском. Но эта фамилия возымела действие позже, когда я стал замечать, что она упоминается даже чаще, чем фамилия самого Шверника. "Богоявленский сказал", "Богоявленский не доволен", "Богоявленскому доложено".

Пройдет много лет, и судьба снова столкнет меня с этой некогда могущественной личностью. Правда, от его могущества к тому времени мало что останется. За злоупотребления властью его снимут с работы и исключат из партии, но я давно уже заметил, что такие, как Богоявленский в Советском Союзе не тонут ни при каких обстоятельствах.

Однажды, когда я уже работал в журнале "Советские профсоюзы" редактором экономического отдела, позвонил человек и, представившись персональным пенсионером союзного значения Богоявленским, предложил что-нибудь написать. Вряд ли он вспомнил меня, но я-то сразу понял, с кем имею честь говорить.

— Я долго находился на профсоюзной работе, — объяснил он мне, имея, по-видимому, в виду, что был помощником Шверника, когда тот еще был председателем ВЦСПС, — знаю и люблю это дело и могу написать что-нибудь интересное.

Разговор этот происходил где-то в 60-х годах. Дело Великовского давно кануло в лету. Но к Богоявленскому у меня вдруг проснулся чисто спортивный интерес: что именно может написать этот "умнейший", как его характеризовал Тарасов, человек?

Я попросил его подумать над темой и позвонить мне дня через два. Он дал о себе знать через неделю и сказал, что готов сразу взяться даже не за одну, а за две важнейших проблемы: во-первых, "Профсоюзы — школы коммунизма", а во-вторых, "ленинский принцип гласности соцсоревнования". "Титан мысли" — улыбнулся я про

себя, — и сказал, что хотя обе эти проблемы действительно очень важны и интересны, но на страницах журнала "Советские профсоюзы" они уже поднимались.

— Подумайте над чем-нибудь еще, вы же старый профсоюзный работник.

— Хорошо, подумаю, — сухо ответил он и больше не позвонил.

— Так вот, товарищ Богоявленский, — продолжал, вдруг выпрямившись в кресле, Тарасов, — прямо мне сказал: "нарубили тут дров товарищи!"

— Да, но как же решение парткома Министерства легкой промышленности, райкома партии?

— А что такое партком и райком Виктор Борисович? Живые люди! — Тарасов улыбнулся, словно ища у меня понимания этой простой и очевидной истины. — А живые люди могут ошибаться — И его остренькие скулы залились румянцем. — Вот, например, Абрам Семенович ссылается на председателя товарищеского суда: дескать, кристальный человек, общественник. Пригласил я этого товарища. Хороший человек, коммунист, офицер в отставке. Но просто не все в этом деле понял. А когда вместе разобрались, то сам же и признал, что был не прав, и даже объяснение нам написал. — И Тарасов показал мне листок бумаги, прочитав который я с трудом поверил собственным глазам.

Я великолепно помнил этого седовласого, с мощными плечами пенсионера, с которым мы, вероятно, битый час говорили в красном уголке ЖЭКа. Он стучал мощным волосатым пальцем по торцу стола, не уставая убеждал меня, что с такими, как Надька Иванова, чикаться нечего, тут крутые меры нужны и он хоть сейчас пойдет куда надо.

На листке, который показал мне Тарасов, председатель товарищеского суда покаянно писал в КПК, что по части товарища Ивановой Н.С. и ее мужа, который взял на попечение трех малолетних сирот, им была допущена серьезная ошибка, он ее признает, в чем и дает настоящее объяснение.

— Еще бы, в КПК, — мрачно усмехнулся я, — теперь вам что хотите напишут.

— Ну это вы уже зря, Виктор Борисович, — обиженно проговорил Тарасов и взглянул на меня с таким упреком, словно на его добро и расположение я ответил черной неблагодарностью, — уверяю вас; все дела ведутся абсолютно беспристрастно. Да и что плохого, если так говорить, мне сделал Абрам Семенович? Абсолютно ничего! Просто надо же установить истину...

В конце беседы он, как обычно, вышел из-за стола и даже крепче, чем всегда, пожал мне на прощание руку.

Все последующие дни я жил в напряжении и почему-то даже обрадовался, когда мне позвонил Тарасов. Он, как всегда, оставался самим собой:

— Виктор Борисович! Тарасов, из Комитета партийного контроля.

И когда я открыл дверь, как заводной солдатик, вышел мне навстречу из-за стола.

Я подумал: "Скорее бы все это уже кончилось", не подозревая, что развязка совсем близка и при всех моих мрачных прогнозах окажется все же не такой, какой я ее ожидал.

— Что, Виктор Борисович, будем заканчивать? — дружески смотрел на меня Тарасов. — Да, пора, — и энергичным движением он извлек из ящика стола толстую сброшюрованную папку, на обложке которой был клеен бумажный прямоугольник, а на нем крупными машинописными буквами было напечатано: "Дело Великовско-го и других". — Решили вынести на четверг, — продолжал Тарасов, — вначале думали на среду. Товарищ Богоявленский занят.

— Куда вынести? — спросил я.

— Как куда? На Комитет партийного контроля при ЦК КПСС, — продолжал на меня смотреть Тарасов тем же дружелюбным взглядом. — Кстати, вы говорили, что Великовский хороший человек. А знаете, что выяснилось? Что с милицией-то провокация была!

— С какой милицией?— не мог вспомнить я.

— Ну как же, помните фигурировал случай, будто Иванова устроила в квартире дебош? В дверь колотила, оскорбляла нацию Великовских. Так этого же не было ничего. Просто матери Великовского, Саре Лазаревне или Саре Моисеевне, не помню имени отчества ее, что-то померещилось: может, Иванова на ребятишек прикрикнула или еще что-нибудь, — и Великовские тут же вызывают милицию? Зачем вызывают, неизвестно. А когда товарищи приехали, то ровным счетом ничего не обнаружили. Начальник 42-го отделения так нам и пишет: "Проверкой установлено, что в настоящем случае вызов работников милиции не имел под собой никаких оснований и носил со стороны семьи Великовских провокационный характер". В общем, почитайте это и все поймете, — и Тарасов вручил мне подготовленную им справку для членов Комитета партийного контроля.

Справка эта превзошла даже самые мрачные мои ожидания. С первых же строк говорилось о непартийном поведении коммуниста Великовского, погрязшего в квартирных склоках и дразгах, совершенно недостойного члена КПСС. Используя свой авторитет и склонив на свою сторону некоторых членов домового товарищеского суда, Великовский создал вокруг семьи Ивановых нетерпимую обстановку, встал на путь сутяжничества и прямых провокаций, как это имело место, когда им, якобы для пресечения дебоша со стороны Ивановой, были вызваны сотрудники райотдела милиции. Затем говорилось о неправильной позиции, занятой редакцией газеты "Труд", опубликовавшей фельетон Перельмана. Автор явно тенденциозно осветил суть дела, поставив под удар семью рабочего Иванова и в первую очередь усыновленных им детей. В заключение Великовскому за непартийное поведение предлагалось объявить строгий выговор с предупреждением, а автору фельетона В.Б. Перельману поставить на вид.

- Послушайте, - вырвалось у меня, - здесь же все вверх ногами...

— Ну, это вы напрасно, Виктор Борисович. Хотите дам товарищеский совет? Не лезьте в бутылку, не надо. Я и Буркову, редактору "Труда", сказал это, мы с ним в одной столовой обедаем. "Не прав ты, Борис Сергеевич, с этой Ивановой, абсолютно!" А он: "Это мы еще посмотрим". Ну хорошо, посмотрим, так посмотрим. А для вас, Виктор Борисович, самое лучшее, — это признать ошибку. Человек вы еще молодой. Скажете членам КПК, что погорячились, проявили поспешность. Главное, что вы это сами осознали. Уверен, что вам даже не вынесут взыскания, ограничатся предупреждением и все.

Тарасову явно нельзя было отказать в логике, и на миг я подумал, что самое разумное так и поступить, как он советовал. Но тотчас во мне проснулось нечто другое, что плохо согласовывалось со здравым смыслом. Если последовать совету Тарасова — это значит оказаться последним трусом и к тому же предать Великовского. Предательство в моих глазах всегда было самым мерзким, что можно было придумать. И я решил попробовать переубедить Тарасова. И я снова стал перечислять все, что неопровержимо свидетельствовало в пользу Великовского. Тарасов неотрывно смотрел на меня, но думал о чем-то своем. Я, не желая замечать это, снова и снова ссылаясь на документы, на факты, на слова сослуживцев. "А провокация, — доказывал я, — это какая-то идиотская нелепость. Зачем Великовским было ее устраивать? И, если хотите, они были правы, вызвав милицию..."

В этот момент изысканно вежливый, дружелюбный Тарасов так же, как когда-то Ликовенков, вдруг сбросил с себя маску. Он сбросил ее на миг, но мне этого было достаточно.

— Вот видите какой вы, Виктор Борисович, — в глазах его блеснуло что-то недоброе, — как Великовский —

значит, все нормально. Почему вы считаете, что всегда права только ваша нация?

Я не поверил своим ушам...:

— Простите, как вы сказали? — переспросил я, вбрав голову в плечи.

— А что я сказал особенного, Виктор Борисович? — на меня смотрели те же ясные, внимательные глаза, — сказал, что для нас с вами все должны быть равны, какой бы нации человек ни был.

Перебирая в памяти все происшедшее в те дни, я не устаю удивляться своему мальчишеству. И какой-то фанатичной вере в собственные силы — да нет того, чего бы я не мог, я все могу, и доказать свою правоту на КПК тоже смогу. Тем более доказать, что черное — это черное, а белое — это белое. Как бы они ни были настроены, эти всевластные члены КПК, а это им придется признать.

По дороге из КПК мне в голову пришла гениальная идея. Такой она мне, по крайней мере, казалась. Я вспомнил еще одну деталь из биографии Надежды Сергеевны. Ее соседи по дому мне рассказывали, что некоторое время назад органы милиции выслали ее из Москвы за проституцию. По их словам, в управлении милиции на Петровке 38 в отношении нее было заведено специальное дело, в котором она фигурировала под кличкой "Надька-блоха".

Если эти материалы представить на КПК, то Тарасову никого не удастся убедить, что это просто усталая, замотанная женщина.

До заседания Комитета партийного контроля оставался ровно один день, и наутро, заручившись специальным поручением "Труда", я отправился на Петровку 38, где в мое распоряжение были предоставлены все необходимые материалы. Но искать оказалось куда труднее, чем я думал. Картотеки по проституции не существовало вовсе, а нарушителей паспортного режима, среди которых числилась, по-видимому, Надежда Сергеевна, было

столько, что казалось, не хватит и месяца, чтобы просмотреть все архивы. Неожиданное обстоятельство прервало мой поиск. Прибежала секретарша начальника архива и сказала, что меня срочно вызывают к телефону. Я не узнал голоса Тарасова, настолько он переменялся:

— Товарищ Перельман, кто вам дал право ревизовать действия Центрального Комитета Партии? Я рассказал о вашем поступке Николаю Михайловичу, он был страшно вами возмущен. Немедленно явитесь в КПК и сдайте поручение "Труда". С ними у нас еще будет разговор!

Весь вечер я сидел сиднем и готовился к заседанию Комитета партийного контроля. Тарасов сказал, что на выступление мне дадут минут 10-15. Даже если вдвое меньше, то все равно я сумею кое-что сказать. На всякий случай приготовил два текста, один на десять минут, другой — на три, уж три-то минуты должны дать. Мне их будет достаточно, чтобы зачитать вслух некоторые выдержки из документов партийных комиссий. Не могут же они все отбросить с порога.

Уже поздно вечером позвонил Великовскому. В последние дни мне не удавалось его застать дома. На этот раз он подошел к телефону сам.

— Ну как, Абрам Семенович, держимся?— Весело приветствовал его я. Меня действительно охватил какой-то лихой веселый азарт.

Великовский определенно был настроен по-другому.

— Понимаете, Виктор Борисович, — басил он в трубку, — этот Тарасов такой страшный человек. Он вызывает меня по два раза в день — то меня, то жену. И все одно и то же, одно и то же. А вчера у меня был приступ стенокардии... Знаете, у меня уж не хватает сил...

— Абрам Семенович, что с вами?— скорее уже по инерции продолжал я все тем же голосом бодрячка.

— Нет, ничего, Виктор Борисович,ничего,— сказал Великовский. — Вы можете быть совершенно спокойны, вас-то уж я ничем не подведу.

— При чем тут я? Выше нос, Абрам Семенович,— еще

раз повторил я и повесил трубку. Настроение было явно испорчено.

Наутро, без пяти одиннадцать, я уже был возле секретариата Шверника, как мне и было велено Тарасовым. Самого его не было. Зато я тут же увидел Абрама Семеновича. Он был рядом с полным, непрестанно улыбающимся человеком, представившимся секретарем парткома Мосгорсовнархоза. За время, пока тянулось дело, министерства были преобразованы в совнархозы. Я искал глазами Буркова. Накануне, когда я держал совет с Безугловым, он сказал: "Витенька, не волнуйся, за широкими плечами Бориса Сергеевича Буркова ты как за каменной стеной, но Буркова нигде не было видно, зато я неожиданно заметил стоявшего у окна его зама Хатунцева и рядом с ним Сегалова. Я с удивлением спросил, а где же Борис Сергеевич.

— Борису Сергеевичу что-то нездоровится, — ответил Сегалов, — Владимир Алексеевич вместо него, — взглянул он на Хатунцева, но тот только пожал плечами:

— Более неудачной кандидатуры для этого невозможно было найти. Я вообще был в отпуске, когда печатали фельетон!

Тем временем подходили все новые и новые люди, здоровались с Великовским и секретарем парткома совнархоза. С некоторыми из них я встречался, когда проверял материалы фельетона, некоторых видел впервые.

Наконец возле приемной появился Тарасов в черном парадном костюме, придававшем его тощей, костлявой фигуре респектабельность, и сказал, обращая ко всем нам:

— Товарищи, кто здесь мои? Прошу, Абрам Семенович, прошу в эту дверь, — он махнул рукой Великовскому. — Виктор Борисович, сюда, — и вскоре вся наша компания оказалась в небольшой приемной, где, напротив обитой кожей двери, сидел одиноко приткнувшийся на стуле человек. Дверь, судя по всему, вела в зал заседаний, а он ждал, когда его вызовут.

— Наша очередь — вторая, — сказал Тарасов, — сейчас пойдет товарищ, а мы сразу же за ним, так что прошу никуда не отлучаться.

Отлучаться никто и никуда не намеревался, все стали шумно рассаживаться на стульях, стоявших вдоль стены, напротив кожаной двери. Я оказался рядом с "товарищем", который, по словам Тарасова, должен был идти перед нами.

Когда мы вошли, этот человек не обратил на нас ни малейшего внимания. Он не переставал курить и, нервно выдергивая горящие окурки изо рта, машинально вдавливал их в пепельницу, и без того доверху наполненную такими же жеваными, мятыми окурками. Эта пепельница, стоявшая на совершенно голом дубовом столе в приемной высшего партийного суда, кажется, навсегда врезалась в память, даже не столько она, сколько гора изуродованных, изломанных окурков, под которыми уже почти не было видно черных пластмассовых бочков пепельницы.

Все сидели молча. Лишь Великовский бесшумно расхаживал по мягкой ковровой дорожке. Он то и дело снимал очки, тер платком стекла. Только теперь я заметил, как он осунулся. Худое лошадиное лицо его стало длиннее, и когда он снимал очки, то глаза начинали часто и беспомощно моргать.

Сосед мой снова выдернул изо рта горящую папиросу и привстал, чтобы вдавить ее в пепельницу. Когда он сел, я спросил, что у него за дело. В ответ он молча махнул рукой и извлек из кармана пачку "Казбека".

— Понимаете, растащили завод, а я во всем оказался виноват, клеветник!

— Не волнуйтесь, может, разберутся, — попробовал я его успокоить, и в эту минуту кожаная дверь приоткрылась, и выглянувший из-за нее какой-то человек позвал его:

— Иван Иванович, пошли быстренько.— Он секунду подождал, пока сосед мой ткнет горящую папиросу в

гору окурков и, пропустив его впереди себя, скрылся вместе с ним за дверью.

Мне кажется, не прошло и трех минут, как он появился обратно. На нем не было лица. Он пытался на ходу извлечь из кармана папиросы, но почему-то не мог. Я хотел спросить у него: "Как?" Но, встретившись с ним взглядом, понял все и без того.

Кожаная дверь снова скрипнула, и появился Тарасов, возбужденный, с раздумявшимися скулами:

— Абрам Семенович, товарищи, прошу...

Я был уверен, что кожаная дверь ведет прямо в зал, но прежде, чем мы попали туда, пришлось пройти еще через две или три приемных, и, очутившись в зале, я в первый момент никак не мог понять, отчего он такой большой, будто даже и не зал заседаний, а зрительный зал со сценой, расположенной очень далеко от нас, сидящих на галерке, и там, на сцене, с минуты на минуту и должен был начаться спектакль. Возможно, такое впечатление создавалось оттого, что нас Тарасов усадил в одном конце зала, у самого входа, а члены КПК сидели в другом за небольшим прямоугольным столом. Их было человек восемь-десять не больше. На председательском месте я тотчас увидел председателя КПК Шверника.

Он был точь-в-точь таким, как на портретах, — седеющий, с белым, гладким, словно восковым лицом. Сидел совершенно прямо, чуть склонив набок голову.

— А что, товарищ Иванова здесь? — спросил он звонким и совсем не стариковским голосом. — Где товарищ Иванова? — оглядывал нашу компанию Шверник.

— Извините, Николай Михайлович, — придвинулся к нему Тарасов, — я уже докладывал вам, что товарищ Иванова не член партии.

Шверник кивнул понимающе головой и тотчас от куда-то сбоку к нему приблизился плотный с властным лицом человек, очевидно, Богоявленский, он что-то сказал Швернику, и тот снова кивнул головой...

— Кто вел дело, товарищ Тарасов?

— Я, Николай Михайлович, — поднялась над столом

прямая как струна фигура Тарасова. И он громким, решительным голосом зачитал вслух все ту же злосчастную справку, которая во время нашей последней встречи вызвала у меня взрыв негодования и в которой Великовский характеризовался как беспринципный склочник, докатившийся до кухонных провокаций.

— Ясно! — сказал Шверник, когда Тарасов кончил. — Кто хочет сказать? — оглядывал он нас, расположившихся у двери.

— Разрешите, Николай Михайлович, — пробасил сидящий слева от меня Абрам Семенович.

Приблизившийся сбоку к Швернику Богоявленский снова что-то сказал ему, и Шверник снова понимающе кивнул головой.

— Значит, товарищ Великовский? Пожалуйста! Что вы можете нам сказать по этому делу?

Абрам Семенович поднялся и, молча оглядев присутствующих, загудел, но не об Ивановой и не о своем с ней конфликте, а о том, как тяжело ему, коммунисту с двадцатипятилетним стажем, держать ответ перед высшим партийным органом — Комитетом партийного контроля, олицетворяющим честь и совесть партии. Взвесив честно и по-партийному свое поведение, он пришел к выводу, что им допущена тяжкая ошибка, граничащая с преступлением перед партией, в котором он, Великовский, глубоко и чистосердечно раскаивается.

Я поймал себя на мысли, что совершенно не удивлен его выступлением и даже, напротив, после вчерашнего разговора по телефону ничего иного не ждал. Я лихорадочно искал выхода — если раскаивается он, человек, которого я в фельетоне защищал, то что остается делать мне? Тоже каяться, наплевав на самого себя, на все на свете, — плетью обуха все равно не прошибить...

— Я понимаю, — гудел над ухом Великовский, — что, как коммунист, не имел права пасть до уровня Ивановой и тем более погрязнуть в судебных дрязгах. И не

было никакой необходимости идти в редакцию "Советской России" с материалами для фельетона.

— Куда вы сказали идти? — неожиданно встрепенулся генерал, сидящий с левой стороны от Шверника. — В "Труд"?

— Нет, в "Советскую Россию", но, поверьте мне, Николай Михайлович, что сейчас я очень переживаю.

Шверник, чуть склонив свою седую голову, неотрывно, как изваяние, смотрел на Великовского, и на его неподвижном каменном лице невозможно было уловить ни единой эмоции, вызванной раскаянием Великовского.

В заключение Абрам Семенович еще раз повторил, что он до глубины души осознал свое поведение и просит Комитет партийного контроля только об одном — позволить ему искупить вину честным трудом в рядах партии, без которой он не мыслит своей жизни. Последние слова Абрам Семенович произнес с трудом. Голос его дрогнул, и он спешно полез в карман за носовым платком.

— Так, ясно! — сказал Николай Михайлович. — Кто следующий — товарищ Иванова?

— Николай Михайлович, я вам докладывал, что Иванова не член...

— Да, да, — кивнул головой Шверник, — ну так кто же?

— Разрешите! — и я увидел, как откуда-то сзади меня выкатился в центр зала кругленький, очень похожий на Михаила Петровича секретарь парткома Мосгорсовнархоза.

— Уважаемый Николай Михайлович, дорогие товарищи, — начал он мощным голосом заштатного оратора, — вы только что выслушали выступление коммуниста Великовского. Не стану скрывать, партийный комитет считает, что товарищем Великовским допущена тяжкая ошибка, граничащая с партийным преступлением. Должен доложить вам, Николай Михайлович, что мы у себя в парткоме тщательно разбирались в этом деле. Нехорошо ты поступил, Абрам Семенович, очень нехорошо, недостойно! Но, товарищи, мы все видим, как переживает товарищ Великовский, глубоко переживает, по-партийно-

му. Учитывая это, партком просит не налагать на коммуниста Великовского строгого партийного взыскания, ограничившись обсуждением вопроса.

Теперь была моя очередь, и я попросил слова. Позже, кому бы я ни рассказывал о происшедшем на КПК, почти все недоумевали: "Ребенок! Не знал, как надо себя вести, ну покайся бы, побил себя в грудь, подумаешь, Желябов".

Меня упрекали, что я не стал тем, кем я должен был стать, согласно действующим стереотипам. Впоследствии я много раз пытался понять свое состояние. Похоже, выиграло во мне нечто такое, с чем я физически не мог справиться. Не мог, да и только, изничтожить себя за то, в чем не чувствовал ни малейшей вины. И оттого, что каялся Великовский, у меня вовсе не появилось желание следовать ему. Совсем напротив, видя перед собой его униженную фигуру, я твердо решил вести себя как угодно, но только не так, как он.

Начал с того, что выразил несогласие с мнением Тарасова и попросил разрешения процитировать некоторые из документов, характеризующих Иванову. Интуитивно я почувствовал, что следует избрать трехминутный вариант выступления. Но не успел я сказать, что, с моей точки зрения, партследователь КПК товарищ Тарасов неправильно доложил дело, как генерал, сидевший слева, прервал меня:

— Вы лучше скажите, как фельетон попал в "Труд", если Великовский сдавал его в "Советскую Россию"?

Я попробовал ответить, как все было на самом деле, а именно, что "Советская Россия" не смогла у меня взять фельетон, поскольку незадолго до этого опубликовала материал на ту же тему, и я вынужден был сдать его в "Труд".

— Значит, не берут в одном месте, вы несете в другое — торговали, значит, фельетоном! Кто больше заплатит!

Я попытался объяснить, что в газетах бывает так, когда материал, не пошедший в одном месте, сдается в другое...

Я неотрывно следил за каменным лицом Шверника. И

вдруг заметил, как впервые на нем проснулось что-то живое и человеческое. Удивленно вскинув брови и оглядев с тем же живым выражением сидящих за столом, он воскликнул:

— Товарищи! Да ведь он же ничего не понял!

— Абсолютно ничего! — решительно поддержал его генерал.—Торговал фельетоном, как на базаре!

— Нравы желтой прессы! Позор! — услышал я сразу несколько голосов, мгновенно почувствовав, что дело плохо. Нужно было срочно что-то придумать, сказать нечто очень важное, но, как назло, ничего не лезло в голову.

А Шверник, с лица которого уже исчезло выражение, которое вдруг проснулось, с тем же холодным мраком в глазах оглядел членов КПК и спросил:

— У нас еще кто-нибудь есть?

— Николай Михайлович, — прорезался наконец у меня голос, — разрешите еще две минуты.

Но он не повел даже глазом в мою сторону, будто меня вообще не существовало. Только теперь я увидел, что поодаль от стола, у стены, сидела еще группа людей, по-видимому, работники аппарата КПК, и ближе всех к Швернику Богоявленский. Увидев меня, неожиданно поднявшегося и пытающегося что-то сказать Швернику, они стали мне делать отчаянные знаки, какие, вероятно, делают человеку, стоящему над обрывом и при одном неудачном движении могущему сорваться в пропасть.

Тем временем поднялся Хатунцев и стал говорить, что во время публикации фельетона он был в отпуске, поэтому как следует обстоятельства дела не знает, но, судя по имеющимся документам, газета имела основания так выступить.

— Имела основание? — переспросил Шверник. — В ближайшем номере дадите опровержение!

— Я, конечно, доложу редколлегии...

— И нечего докладывать! — снова встрепенулся

генерал. — Надо вообще посмотреть, Николай Михайлович, чем они там занимаются.

Шверник, согласно кивнув головой, сказал:

— Ну что же, товарищи, перейдем тогда к мерам взыскания.

Снова приблизился Богоявленский и придвинул к Швернику тарасовскую справку.

— Великовскому предлагается строгий выговор с предупреждением. Было, кажется, мнение смягчить...— В зале наступила тишина. — Как, товарищи? — Члены КПК молчали. — Значит, оставляем? Остается строгий выговор. Перельман — тут написано на вид...

Приблизился Богоявленский, но Шверник жестом руки показал, чтобы он вернулся на место, его помощь не потребуется.

— Значит, тут написано "на вид", — выжидательно повторил Шверник.

— Выговор! — решительно произнес генерал.

— Никак не меньше, — поддержали остальные члены Комитета. — Ничего не понял и еще вести себя не умеет.

— Но я ж кандидат партии, как же выговор? — снова поднялся я.

— Вот и не следует вас подпускать к партии, — сказал Шверник, не глядя в мою сторону, — так что, товарищи, все?

— Все, Николай Михайлович, — первым поднялся Тарасов.

Вслед за ним вышли и мы. Впереди Великовский с представителями совнархоза, Хатунцев, позади всех я.

— Владимир Алексеевич! — окликнул я Хатунцева.

Уже не помню, что именно, но что-то я хотел ему сказать, возможно, просто хотелось с кем-то перекинуться словом. Он не обернулся. Я снова позвал его, но он прибавил шаг и быстро побежал по лестнице. Зато по какому-то срочному делу понадобился я Тарасову. После заседания он был очень возбужденным, радостным. И, взяв меня под руку, повел по коридору к себе и, усадив в кресло, сказал:

— Вот видишь, говорил же тебе, чудаку,— не лезь! А ты? Полез как не знаю кто! Кстати, чтоб не забыть, дай номер твоей кандидатской карточки. В райком-то мы должны с тобой сообщить или не должны?

— Теперь и с работы уволят! — мрачно усмехнулся я, подавая ему карточку.

— Не имеют права, — ответил он, аккуратно выписывая к себе в блокнот ее номер.

— И на новую не возьмут, — вспомнил я о предстоящей на радио реорганизации.

— И на новую возьмут, — сказал он, возвращая мне карточку. — Ошибаться может каждый. Так что если что-нибудь, то пусть сразу звонят мне, я все объясню.

Из КПК я тотчас отправился к себе в редакцию, пребывая в мрачных предчувствиях от того, что теперь меня ждет здесь.

За полгода я и словом не обмолвился об истории с Великовским, и сейчас меня вполне могли обвинить в сокрытии фактов от партийной организации. Тем более склоки здесь достигли таких уже масштабов, что вряд ли приходилось рассчитывать на чье-то сочувствие. Дмитрий Семенович давно меня занес в списки своих врагов, которых всячески выживал из отдела, но которые и не думали складывать оружия.

Назадолго до заседания КПК Дмитрий Семенович в третий раз уволил Исая Осинковского и тот третий раз был восстановлен судом.

Железный Исая написал письмо генеральному прокурору СССР с просьбой привлечь Пахомова к уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением. И хотя над Дмитрием Семеновичем и не висела опасность оказаться за решеткой, он тем не менее все последние дни пребывал в мрачном настроении. Встреча с ним не предвещала мне ничего хорошего. Однако, рассказав ему о деле Великовского и о постигшей меня неприятности, я почувствовал, что доставил ему определенно удовольствие. Мне даже показалось, что он не прочь был растянуть его.

— Так все-таки не ясно, за что же тебе вlepили выговор? — уже который раз подряд он переспрашивал меня.

— Как за что? За неправильный фельетон. Так сказал Шверник.

— Ну это даже я понял. А вот в чем конкретно была неправильность?

И я начинал пересказывать все сначала, и он снова задавал мне вопросы — один нелепее другого, пока наконец не подошел к тому, чего я ждал от него с первой же минуты:

— Ну, а товарищам по работе надо было рассказать обо всем этом или не надо...

— Вот я и рассказал, Дмитрий Семенович.

— А не кажется тебе, что ты это мог сделать раньше, если бы уважал свою парторганизацию? Так я говорю или опять чего-нибудь недопонимаю?

— Нет, не кажется, — сухо ответил я, чувствуя, что уже потерял терпение.

Спустя неделю меня пригласили в Бауманский райком партии, чтобы познакомиться с формулировкой выговора. Прошло очень много лет, но я помню ее до сих пор: "...За написание фельетона, разрушающего семью, оскорбляющего достоинство рабочего Иванова, усыновившего детей Ивановой от предыдущего брака" — вот какими серьезными словами кончился фарс, разыгравшийся в высшем партийном органе на сороковом году советской власти.

Первые дни после КПК я держался довольно бодро, хотя перспектива сулила мало приятного. Отдел радиосообщений доживал последние недели. Не добившись победы в двухлетней войне со склочниками и анонимщиками, Пахомов и Королева убедили агитпроп МК в том, что остался только один выход: ликвидировать отдел радиосообщений вовсе и восстановить его в новом качестве во Всесоюзном радио. У меня появилось "утешение" — судя по всему, меня ждала та же участь, что и прочих инвалидов пятого пункта. Но я плохо знал Дмитрия Семеновича. Отнюдь не ради красного словца

он упрекнул меня в том, что я скрыл от товарищей дело в КПК.

Однажды в конце рабочего дня ко мне подошел член партбюро, редактор промышленных передач Марк Полонский, единственный из евреев, к кому был лоялен Пахомов, и сказал, что у него ко мне серьезный разговор.

Как выяснилось, разговор касался моих партийных дел. Марк давал мне рекомендацию для вступления в члены КПСС. Но после истории с Великовским дело приняло новый оборот. Позвонили из райкома и потребовали, чтобы Полонский срочно отозвал свою рекомендацию. Марк не был из храброго десятка и требование райкома тут же выполнил.

В своем заявлении он писал, что по-настоящему никогда не знал меня и дачу мне рекомендации считает серьезной ошибкой. Но об этом я узнал позже, а тогда он просто сказал, что хочет предупредить о грозящей мне неприятности, — по-видимому, совесть его все-таки грызла. Он взял с меня торжественное слово, что никому не скажу, а то ему оторвут голову и, дождавшись на всякий случай, пока мы выйдем на улицу, сообщил, что готовится мое исключение из партии.

— Понимаешь, Виктор, — сочувствующе глядел он на меня, — тебе ужасно не повезло. Случись все на месяц позже, уже некому было бы тебя исключать. А так — только умоляю не продай меня! — завтра по твоему вопросу партбюро.

Марк напрасно устроил такую панику. Из партии меня не исключили. И партбюро по моему вопросу так и не собралось. В тот вечер, когда мы говорили с Полонским, я сильно простудился и схватил крупозное воспаление легких.

Дул пронизывающий ноябрьский ветер с дождем. Поужинав, я сказал матери, что хочу выйти и немного прогуляться. Она удивленно взглянула на меня — в такую-то погоду! Представляю, что бы с ней было, если бы она видела, что вышел я без пальто, в одном пиджаке.

Утром проснулся со страшной тяжестью в голове. Температура была 39,8. В постели провалялся как раз тот злосчастный месяц, о котором говорил Марк. И когда вышел на работу, всем действительно уже было не до меня. Работал ликвидком. И партбюро больше не собиралось. Так что я еще раз убедился, что судьба не всегда проявляла ко мне жестокость, а в тот промозглый ноябрьский вечер даже была, в некотором роде, милостива...

НОВЕЙШИЙ ПЛУТАРХ

Иллюстрированный биографический словарь воображаемых знаменитых деятелей всех стран и времен

Сперва один бывший москвич принес в редакцию рассказ "Тигр"* — отрывок из эпоса, слагавшегося в 1953 году в переплетной мастерской Ленинградской Тюремной Психиатрической Больницы. Потом другой бывший москвич, совершенно независимо от первого, принес нам рукопись "Новейшего Плутарха"*** — две биографии из этого уникального сборника вы найдете ниже. И тогда мы узнали, что в то же время, в весьма сходных обстоятельствах, во Владимирской тюрьме в избранном интеллигентном кругу заключенные занимались сходным делом.

Случайно и закономерно отрывки эти появляются под одной обложкой нынешнего номера нашего журнала. Прав Андрей Синявский: теми же путями, какими уходят евреи из России, уходят вместе с ними потаенные рукописи. Те две, с которыми мы знакомим вас сегодня, создавались не для читателя в условиях, которые меньше всего какого-либо читателя предполагали. Они создавались авторами для них самих, для того, чтобы расхотеть, сберегая, природный запас скепсиса, здравого смысла, чтобы немоте, награждаемой "на воле" именитыми премиями, противопоставить живую и язвительную речь, родившуюся в тюрьме.

Метод, каким созданы эти книги, — интеллектуальная игра, образец которой показал Солженицын в романе "В круге первом" в главе "Суд над князем Игорем".

Два слова об участниках игры в "Новейшего Плутарха". Да-

*Рассказ "Тигр" любезно предоставлен редакции писателем Зиновием Глузбергом, сотрудником Еврейского Университета в Иерусалиме.

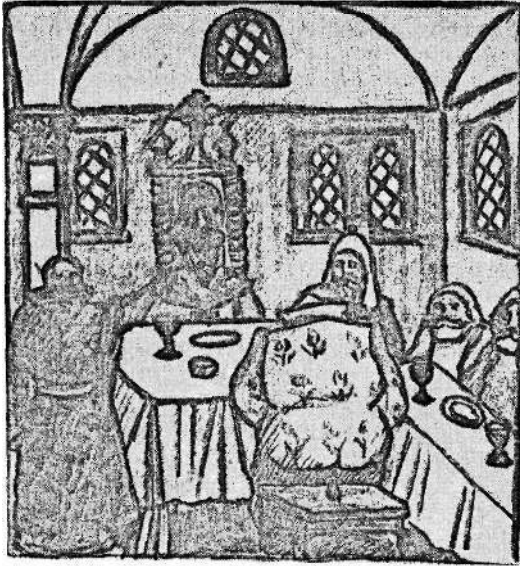
** Рукопись "Новейшего Плутарха" получена редакцией от известного исследователя современных общественных движений в России Михаила Агурского. Его перу принадлежит первая большая статья о "Новейшем Плутархе" и о Данииле Андрееве, помещенная в газете "Русская мысль" от 29 апреля этого года.

ниил Леонидович Андреев — писатель, поэт, философ. Сын писателя Леонида Андреева. Около 10 лет его жизни забрала тюрьма, но смерть "великого вождя" позволила ему последние 3 года провести на свободе. Он умер в 1959 году. После него осталось интересное литературное наследие, из которого опубликовано очень немного. В Союзе недавно вышла книжечка его стихов, отобранных по принципу максимального удаления от боли и горячи, которыми полна была жизнь автора. Биографическое предисловие написано так виртуозно, что жизненные беды поэта совсем в нем не ощущаются и провал в биографии величиной в 10 лет не вызывает недоумения.

Василий Васильевич Парин — профессор, действительный член Академии наук СССР. Был арестован в послевоенные годы по обвинению в том, что продал за границу мифическое средство лечения рака. Сюжет этот с готовностью был подхвачен литературой и театром, и многие читатели вспомнят пьесу Ал. Штейна "Суд чести", где видных врачей обвиняли — со сцены многих столичных театров — в продаже родины за буржуазные блага. Был Парин освобожден почти сразу после смерти Сталина. Остаток жизни (умер в 1970 г.) посвятил космической медицине, принимая участие в подготовке первых космонавтов, возглавлял биологическую программу первых полетов в космос.

Третий соавтор и сокамерник Лев Раков, после реабилитации был до последних дней своей жизни директором Ленинградской Государственной Публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина. В первые послесталинские годы в Ленинградском Театре Комедии с большим успехом шла его комедия "...Опаснее врага", написанная им вместе с д'Алем (АЛЬШИЦЕМ) и поставленная Н.П. Акимовым. Пьеса, полная следов и реминисценций недавнего, казалось тогда, навсегда ушедшего сталинского прошлого, восходила своим названием к известной Крыловской строчке: "Услужливый дурак опаснее врага". Минувшее, следовательно, виделось авторам как следствие злокозненной глупости. Ныне мы должны признать эту точку зрения не то чтобы неверной, но, по крайней мере, недостаточной, ибо настоящее не преодолело прошлого, а следует за ним по пятам.

"Новейший Плутарх", сборник биографий никогда не существовавших великих людей разных времен и народов, проиллюстрированный Раковым, ничем не уступает сборнику биографий подлинных. Великие люди в нем так же глупы и ничтожны, самонадеянны и злы, как порой это бывает в истории. А стандартная пошлость их жизнеописаний не превосходит ту, которая считается обязательной принадлежностью серьезных биографических статей в учебниках и энциклопедиях. И странная мысль закрадывается в сознание при чтении "Нового Плутарха": "А не является ли и та часть истории, которая пришлась на нашу долю, с ее великими, выдающимися и просто знаменитыми людьми, чьей-то шуткой, язвительным скетчем, жестокой тюремной фантазией?!"



**ХРИПУНОВ ОСИПКО ДАВЫДОВ
1550-1612**

Деятель опричнины.

Осипко Давыдов сын Хрипунов родился 3 февраля 1550 г. в стольном граде Москве.

В ночь рождения его мать Секлетя вышла из избы на двор (источники дружно молчат о цели ее выхода, и в исторической литературе есть несколько мнений об этом).

Подняв глаза к небу, она увидела знамение: огненный хвост в виде помела разметал освещенные облака, и одно из них приняло форму собачьей головы, оскалившейся на Секлетю. Перепуганная женщина как была, так и опрокинулась на спину и с криками: "Ой, смерть моя пришла!" — родила сына.

Когда была основана опричнина, Осипку Хрипунову было 14 лет. Увидав опричную эмблему, Секлетя вспомнила свое видение и рассказала об этом соседям. Всеи улицей решили немедля вести Осипку к царю, рассказать

ему о знамени и просить зачислить Осипка в опричное войско.

Царь, услышав от родителей Осипка рассказ о его рождении, распорядился его принять в опричнину. На первых порах он продвигался по службе слабо. В знаменитом списке опричников, недавно опубликованном, мы видим его имя в разряде — "Ниже всех статей" с окладом "3 рубли на год". Слава его пришла неожиданно.

На большом царском пиру в 1574 году боярина князя Суглинского усадили далеко от царя, в конце стола. Не сказав сначала ни слова поперек, боярин изрядно выпил мальвазии и других хмельных напитков, после чего в нем неожиданно взыграло, припрятанное было, местническое чувство. Ударив кулаком по блюду с жареным лебедем и обратив на себя всеобщее внимание, князь Суглинский возопил, что не желает сидеть ниже таких-то и таких-то, привел наизусть родословные всех сидевших выше его и возвел хулу на их отцов и матерей. Особо поносными словами он очернил мать князя Юрия Ростовского меньшого, утверждая, что сам имел честь лишить ее чести еще до того, как она вышла замуж за отца князя Юрия, и что сидеть ниже сына такой бесчестной матери он не желает.

Услышав это, царь, бывший в этот день в веселом настроении, сказал:

— Ну что ж, князь Иван, — твоя правда, иди садись возле меня, — и указал на свободное место справа от себя.

Счастливей боярин, подобрав полы, быстро перебежал в голову стола и торжественно, с маху воссел на почетное место. Однако тут же он вскочил со страшным воплем. Из скамьи торчала стальная игла.

— Что, князь, — сказал царь с кроткой улыбкой, когда умолк за столом хохот, — выходит, не в месте дело. Недолго ты усидел. Поди-ка сядь, где сидел, да помалкивай, не то я тебя еще и не так усажу!

Вдруг на всю палату раздался звонкий молодой голос: — Батюшка царь, Иван Васильевич, вели слово молвить!

Это крикнул Осипко сын Хрипунов, стоявший у нижнего конца стола.

— Ну, молви, — сказал царь.

— Позволь мне, государь, на то место всесть. Может, там, где боярину, по царскому указу, сидети невместно, — верному твоему опричнику в самый раз будет?!

— Садись, — сказал царь, и все замерли.

Бодрым шагом прошел Осипко к пустому месту, перебрался за скамью и, перекрестившись, с размаху сел... Звучно ударился он об лавку... кто-то громко охнул... Князь Суглинский подскочил на своем дальнем месте... А Осипко, даже ничуть не поморщившись, схватил чашу и сказал:

— Дозволь, великий государь, сидя на сей игле, не вставая, выпить эту чашу за долгие твои лета, доброе здравие и за победу над врагами чужеземными и внутренними.

— Пей, верный мой холоп Осипко Хрипунов, — отвечал царь. — А за геройство твое да за то, что посрамил боярскую спесь, — будет тебе от меня таковое жалование: перво-наперво дарю тебе парчовые штаны со своего царского плеча. Да кроме того, жалую тебя "вичем", чтобы прозывался ты отныне Осип Давыдович сын Хрипунов. А поверх того дозволяю, от сего дня, тебе и всему роду твоему за царским столом не вставая, а сидючи, за наше царское здравие чашу выпивати.

Все гости зашумели одобрительно, а Осип Давыдович расплакался от великого такого счастья. Так и сидел он на игле до конца пира.

С тех пор он и потомки его сидели не вставая на царских пирах.

Как установил основоположник сравнительного литературоведения профессор Киселовский, о подвиге Осипка Хрипунова было сложено несколько былин и народных песен, сюжет которых переключался в мировую литературу и нашел свое отражение в известной книге М. Твена "Принц и нищий", где право сидеть на королевских приемах завоевал герой книги — дворянин Гендон.

Нет необходимости говорить, что с того достославного часа карьера Осипка Хрипунова была обеспечена.

Он прожил долгую жизнь и сделал немало великих дел. Его слава несколько померкла при благочестивом царе Федоре, но вновь возродилась при Борисе Годунове.

Царь Борис относился к нему дружелюбно, хотя в свое время и досадовал за то, что на том пиру Осипко обошел его и раньше успел сесть на иглу, хотя та же мысль почти одновременно пришла в голову и ему. Наблюдательный царь Иван заметил тогда досаду Годунова и на другой день сказал ему:

— Не тужи, Борис, что опоздал вчера на иглу сесть. Каждый служит тем, чем может. Тебе для исправления нашей царской службы и головы столь довольно, что незачем на сие другие свои достоинства употреблять...

Самозванец, подвергший сомнению и поруганию многое из священной московской старины, решил подшутить и над старым Осипком Давыдрвичем.

Однажды на пиру он пригласил его сесть на знаменитое место, куда снова была воткнута стальная игла. Повторив свой геройский подвиг, старый слуга царя Ивана Васильевича сказал дерзким голосом:

— Недурно бы и тебе, государь, в царское свое место спицу приспособить, да на нее и всаживаться, а то не ровен час... да и свалишься с царского места...

Лже-Димитрий, будучи нраву легкомысленного и отчасти веселого, не рассердился на эту дерзость и сказал:

— Хорош твой совет, Осипко, да боюсь, в случае чего, и спица не поможет.

Как известно, эти слова оказались пророческими. Но мнению известного исследователя политических движений того времени И. Смерднова, этим ответом самозванец сильно подорвал свой авторитет, чем способствовал скорому успеху заговора Шуйских.

Осип Давыдович Хрипунов погиб геройской смертью в 1612 году в знаменитый августовский день, когда под Москвой было разгромлено войско гетмана Ходкевича, явившегося спасать поляков, осажденных в Кремле.

Лежавший на земле раненый польский жолкер ударил копьем нашего старого воина. Направленное снизу вверх копье вонзилось Осипу Давыдовичу Хрипунову именно туда, куда уже дважды вонзалась игла. Вскоре отважный старый опричник умер от потери крови.

Потомки его — князя Хрипуновы-Иголкины играли заметную роль в дальнейшей придворной истории.

х х х



ФИЛИППОВ МИХАИЛ НИКАНОРОВИЧ
1798-1914

Писатель, поэт, драматург.

Михаил Никанорович Филиппов родился в г. Тамбове, в семье мелкого чиновника. Девятнадцатилетним юношей он поступил в канцелярию губернского правления, где и служил непрерывно в продолжение пятидесяти лет, понемногу повышаясь в чинах.

Художественной литературой Ф. увлекся еще в молодых годах. Весь свой долгий век он с поразительной методичностью и упорством, отличавшими все его действия, посвящал литературной работе от 2 до 3-х часов ежедневно; воскресенья же и праздники отдавались чтению литературных новинок, неизменно действовавших на восприимчивую натуру Ф., как стимул к собственному, более или менее оригинальному творчеству. К дальнейшей судьбе своих опусов Ф. относился с тем бескорыстным идеализмом, который — увы! — так редко встречается в нашем столетии; вследствие этого обстоятельства

число литературных произведений Ф., увидевших свет, не превышает, к сожалению, 85 томов; остальная часть его художественного наследия, превышающая указанную цифру, по крайней мере, в 2,5 раза, до сих пор остается ненапечатанной).

Первым серьезным опытом нашего труженика слова следует считать романтическую повесть "Прасковья — стрелецкая дочь", появившуюся в "Тамбовских губернских ведомостях" в 1820 г. За нею последовали робкие попытки овладеть стихотворною формой: поэмы "Ерусалан и Неонила", "Евмений Мологин", "Бронзовый пешеход", не помешавшие, однако, плодотворности также и прозаических занятий Ф. Результатом этих последних явились романы "Майорский сынок" и "Живые сердца". К этому же периоду относятся и первые опыты Ф. в области стихотворной драмы: "Щедрый герцог", "Мраморный пришелец", "Попойка во время холеры" и "Счастье от глупости".

Не смущаясь молчанием критики, Ф. упорно продолжает свою работу, согласно завету Пушкина "всех лучше оценить сумеешь ты свой труд". Поэтому нас вряд ли сможет удивить то факт, что с 1840 по 1880 г. Ф. было закончено не менее 52 романов. Назовем некоторые из них, чтобы убедиться, насколько живо, быстро и горячо отзывался Ф. на все сколько-нибудь значительные явления современной ему отечественной литературы: "Кто прав?", "Что думать?", "Шарабан", "Вторая любовь", "Потом", "Матери и внуки", "Пар", "Корвет Церера", "Обрезов", "Откос", "Необыкновенная география", "Обиженные и ущемленные", "Подвиг и награда", "Умный человек", "Село Карамазово", "Матрац", поэмы "Русские мужчины", "Кому в Тамбове умирать нехорошо" и мн.др.

Пользуясь после выхода в отставку неограниченным досугом и неотвлекаемый никакими другими интересами, Ф. в последние 45 лет своей жизни развил совершенно необычайную энергию, Закончив, по свидетельству его правнуков, свыше 150 романов и несколько сот повестей и рассказов. Ни преклонный возраст, ни замкну-

тый образ жизни не мешали ему каждый раз, как только в его поле зрения попадало новое произведение литературы, откликаться на него, предлагая читателю — или, по крайней мере, своей семье — новый оригинальный вариант затронутой темы. От эпохи Карамзина до первых выступлений русских футуристов трудно было бы указать какое-нибудь литературное течение или какой-нибудь серьезный вопрос, волновавший наше общество, не получившие своего отражения в творчестве Ф-а, которое сделалось настоящим зеркалом русской культурной жизни на протяжении целого столетия. Это блестяще подтверждается перечнем заглавий крупнейших произведений Ф., увидевших свет с 1880 по 1914 год: "Обычаи Разболтаева переулка", "Бессилие света", "Семена невежества", "Понедельник", "Отваловские медяки", "Глухой актер", "Три кухни", "Тетя Паша", "Старик Игдрозиль", "Повесть о восьми утопленниках", "Лиловый плач", "Крупный черт", "Незнакомец", "Резеда и минус", "Туча в манто".

Свидетель и посильный участник золотого века русской литературы, лишь нескольких лет не дотянувший до столетнего юбилея своей деятельности, Ф. являет собою незабываемый образец самоотверженного труженика на этом благородном поприще. Невольник вдохновения, он всю жизнь торопился обогащать родную литературу сокровищами своего духа, не успевая заботиться об ювелирной отделке романов и поэм, как бы чувствуя всегда, что беспощадная смерть вот-вот оборвет его творческий подвиг на полуслове. И когда мы представляем себе, как 116-летний старец, испуская последний вздох под попыткою дать собственный вариант на тему "Ананасы в шампанском", прошептал трогательную в своей простоте и скромности фразу — "и моя капля меду есть в улье!"... — мы испытываем то самое волнение, которое заставляет обнажать голову перед наиболее возвышенным явлением жизни.

х х х

*Публикацию "Новейший Плутарх" подготовил
Михаил Агурский.*

НАПИСАНО В ЛТПБ

У этой книги, короткая главка из которой приводится ниже, настоящая советская судьба: она почти сразу попала в руки тех, кто должен был узнать о ней в последнюю очередь; а имя ее автора, вне всякой связи с этой книгой, в первую очередь известно там, где он меньше всего заинтересован в своей известности. Сейчас такого автора называют "писателем узкого круга". Из этого узкого круга, воспитанного на стилистике этой книги, вышло уже третье поколение пишущих. Люди, не имеющие отношения к этому узкому кругу и никогда не видевшие этой книги, цитируют ее, не зная и не понимая, что они цитируют. И в этом нет никакой несправедливости, потому что настоящая литература — это те слова, которые хочется заучить наизусть; те слова, которые расходятся на разговорные цитаты, источник которых забывается.

Эта книга писалась и собиралась на ходу, почти стенографически, и ее сюжет — это ход ежедневной жизни ее героя, ее ритмы — это ритмы его шагов по тротуарам нашей жизни; ее манера — это манера его походки, чуть прихрамывающей, устремленной вперед, но зигзагами. В 1953 году такая манера передвигаться по жизни приводит героя в Ленинградскую Тюремную Психиатрическую больницу (ЛТПБ).

Глава "Тигр" написана в переплетной мастерской этой больницы, где к этому времени, времени неустанной борьбы с космополитизмом формы вашего носа и дела "врачей-убийц в белых халатах" (впоследствии ошибочно реабилитированных), представители разных форм этого космополитизма — от вейсманизма-морганизма до итальянского языка — перевоспитывались трудом из человека в обезьяну, путем переплетения книг больничной библиотеки.

Удивительным образом черновик уцелел и был пронесен через проходную этой тюремной больницы, таким же удивительным образом, каким машинописная копия "Тигра" была пронесена через ту границу, которая всегда на замке.

Имя автора в таких случаях традиционно опускается.

З.Г.

ТИГР

Новелла. Написано в переплетной ЛТПБ в 1953 году.

Сказка о бенгальском тигре.

Се лев, а не собака.

Гибель экзотики! Парижская вечерка поднимает одинокий крик на 8 странице ослепляющей непарелью в разделе спорта, цирка и зоопарка. В этот вечер под куполом Шапито на Елисейских Полях выступала русская укротительница бенгальских тигров Вероника Угрюмова. Парижане жаждут хлеба и зрелищ. Безработный выпрашивает грош: без гроша и в цирк не попадешь.

Сенсационный номер программы составляла игра двух тигров в футбол.

Старый изувеченный тигр был особенно кровожаден на родине. По-тигриному кровожаден и свиреп, по-звериному неуживчив и нелюдим. Он помнил стрелков из отряда капитана Рэдьярда Киплинга. Свет погас в очах британского барда, Индия перестала быть страной чудес. Старый

изувеченный тигр стал отличаться той особенной глухой и слепой, затаенной ненавистью ко всему живому и продолжающему жить, которой отмечены только люди, потерявшие всех родных и близких. Изувеченный и на смерть раненный человек так ненавидит врага, и это единственное чувство привязывает его к земле. Единственная эмоция, если не работает чувство гражданской совести, долг перед идеей, любовь к родине.

Вероника Угрюмова с детских лет любила животных. Злые языки болтали: больше, чем людей. Ложь. Клевета друзей не помешала завоевать мировую славу.

Второй экземпляр — надо считаться с фактом — не был настоящим бенгальским тигром. Второй тигр был пойман стариком сибиряком на территории одного уссурийского колхоза. Тигры стали друзьями по несчастью в Москве.

Был еще и третий — некто Рабинович. Он устроился по протекции коммерческого директора цирка и уже через три дня весьма впечатляюще рычал — правда, с небольшим акцентом. Дрессировке он поддавался с трудом, ибо имел обо всем собственное мнение. Так, считая, что тигры, играющие в футбол, — это банально и нерентабельно, он предлагал заменить футбол преферансом и брался обучить двух своих товарищей за дополнительную почасовую оплату. Он не ладил с Вероникой и писал на нее заявления в местком, подбивая других тигров подписываться под ними.

Тем не менее, Вероника рассчитывала усмирить и его, уповая прежде всего на свои красные рейтузы в обтяжку. Но в самый последний момент за Рабиновичем пришли, содрали с него шкуру и повезли куда-то. По слухам, он был обвинен в развертывании фракционной деятельности среди биоменьшинств. К тому же предполагалось, что он — собака.

Кто читал Фрейда, тот прекрасно понимает внутренние мотивы Рабиновича в его акробатической деятельности. Комиссия по проверке лояльности под председательством директора Московского зоопарка профессора Мантейфеля сорвала с него (с Рабиновича, а не с Фрейда) маску

тигра и вскрыла перед всеми его антизвериную сущность.

Бенгальский тигр был простак. Узнав о разоблачении Рабиновича, он только воскликнул:

— И подумать только, что я жил с ним в одной клетке!

— Втерся сюда! — прорычал майор Портнов, особоуполномоченный по делам непарнокопытных.

Что касается тигра, которого поймали в Сибири, то он был умнее. Выяснилось, что он давно подозревал нечто подобное и еще в первый день обратил внимание на форму носа этого Рабиновича, чуждую тигриному облику. "Это был не советский тигр, а подлая американская пума".

Подозрения его переросли в уверенность, но не успели окончательно созреть. От лица всех простых зверей Сибири он благодарил соответствующие организации за своевременные мероприятия. Бдительность и патриотическое воодушевление молодого тигра были вознаграждены куском мяса из рук майора Портнова. В многотиражке "Голос дрессировщика и дрессируемого" был напечатан очерк Ольги Четчиной "Наш современник".

Рабинович знал Веронику еще девочкой. Она ходила в коротеньких цветных юбочках и подавала большие надежды. Рабинович был стар и антисексуален. Секс для Рабиновича был бы бизнесом, если бы не стал вопросом политики.

В чем была загадка безграничной власти молодой укротительницы над тиграми?

Над этим Рабинович голову ломал и чудеса подозревал. Чудеса в решете. Он решил, что на тигров действуют красные рейтузы Вероники, и вознамерился снять их с нее.

И — снял?

Потому что на самом деле Рабинович был ЛЕВ. Лев, хотя и Моисеевич.

Не тот ли это Рабинович?

Команда восточно-бенгальского клуба проделала 13 000 километров на лайнере "Иль де Франс".

13 сентября 1953 года в Москве на стадионе "Динамо" зарубежные гости из далекой Индии потерпели поражение

со счетом 13:0. Победили футболисты ленинградского "Динамо".

Рабинович сошел с ума. Сейчас он на 10-м отделении. Он бьется головой о стену и требует перевода на 13-е.

В тесном пространстве фешенебельного бара лиловый негр подал манто для мадмуазель Вероники и просверкал ослепительными зубами. Джаз гремел. Кровавые губы девушки обещали забвение на одну ночь.

В Париже все, как вчера, кроме полицейских, на лицах которых застыли загадочные улыбки. Полиция все знает. Ей известно, чем все это кончится.

Старый изувеченный бенгальский тигр пропустил третий мяч в свои ворота. Публика неистово хлопала.

Вероника Угрюмова взмахнула хлыстом. И вдруг произошло нечто неожиданное. Зрители не сразу поняли, в чем дело. Выстрел раздался на арене.

Алые рейтузы укротительницы очутились под желто-коричневой шкурой разъяренного зверя. 13 мужчин в униформе ворвались в центральную клетку.

Через 5 минут тело женщины в алых рейтузах унесли с арены.

Он ее задушил.

"Вечерняя Москва" поместила траурную рамку: дирекция, парторганизация и местком Моск. ордена Ленина Гос. Цирка с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине заслуж. арти. РСФСР В.К. Угрюмовой и...

конец "Т И Г Р"а

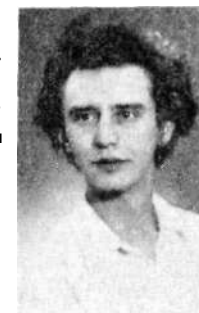
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ЗИНОВИЙ ЗИНИК (ГЛУЗБЕРГ). Писатель. Родился в 1945 году в Москве. Учился в художественной школе живописи и ваения на Кудринской улице, в Московском государственном университете им. М. Ломоносова, на курсах театральной критики при журнале "Театр". С 1965 года публиковался в советских периодических изданиях как театральный критик и журналист. Уехал из СССР в 1975 году и в настоящее время живет в Иерусалиме. Руководитель и режиссер театра-студии на русском языке при Иерусалимском университете.



ЮЛИЙ МАРГОЛИН. Писатель. Родился в 1900 году в Пинске. Как писатель, философ и общественный деятель сформировался в русских демократических эмигрантских кругах и либеральных университетах Германии 20-х годов, в сионистском движении в Польше в первой половине 30-х годов, в еврейском ишув Палестины второй половины 30-х годов. С 1939 по 1946 годы находился в заключении в сталинских лагерях. В Палестину выехал в 1946 году. Наиболее известное произведение Ю. Марголина "Путешествие в страну Ээка" вышло в свет в 1952 году. Ю. Марголипу принадлежат книги "Повесть тысячелетий", "Израиль — еврейское государство", "Книга о жизни" и другие.

ЛЕОНИД ИОФФЕ. Родился в 1943 году. До 1972 года жил в Москве. Окончил Московский государственный университет им. М. Ломоносова. В настоящее время живет в Иерусалиме. Печатался в иерусалимском журнале "Менора".





МИХАИЛ АЙЗЕНБЕРГ. Родился в 1948 году, живет в Москве, Окончил Московский архитектурный институт. Работает реставратором. Печатался в иерусалимском журнале "Менора".

МОШЕ ШАМИР. Писатель. Родился в 1921 году в Цфате. С 1941 по 1947 год член киббуца Мишмар-Азек. С 1944 года принадлежал к Пальмаху, издавал подпольный еженедельник "Бамеханэ". С 1969 по 1971 год возглавлял отдел алии еврейского агентства в Лондоне. Моше Шамиру принадлежат роман "Граница", исторический роман "Царь во плоти и крови", историческая драма "Война сынов света" и многие другие произведения.



БОРИС ХАЗАНОВ. (См. журнал № 5.)

ВЛАДИМИР АЛЛОЙ. Литератор. Родился в 1946 году. Образование получил в Ленинграде, окончил филологический факультет Ленинградского университета. Из-за своих христианских убеждений не имел возможности печататься в Советском Союзе. Покинул Россию в 1975 году. В настоящее время живет в Риме. Печатается в русских зарубежных периодических изданиях.



ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН. (См. журнал № 1.)

DIGEST OF EIGHTH ISSUE OF "VREMIA I MI" ("TIME AND WE")

ZINOVY ZINIK. Notice.

This short novel written in modern traditions penetrates into the depths of the human drama which arises when one leaves the country he was born in and which lives within his soul until he dies. Leaving such a country is always a tragedy, it always causes suffering, whatever lofty ideals inspire this kind of leaving. Such is the philosophical message of the short novel.

J. MARGOLIN. Unpublished chapters from the book of j.Margoïin "Voyage through the Land of ZK".

LEONID IOFFE.

Poems.

MICHAEL EISENBERG.

Poems

MOSHE SHAMIR. World at a Precipice.

This essay, written by a famous Israeli writer, discusses what is at the bottom of the degradation of modern civilization, Moshe Shamir demonstrates the factors which has resulted in a very dangerous process of the turn to the left which is evident in the development of Western intellectuals, as well as the process of the onslaught of the Communist ideology.

BORIS KHAZANOV. New Russia.

In his essay, the author reveals a profound tragedy and hesitations of Russian-Jewish intellectual of our time, this type of man having broken off with Russia but finding no power in himself to break off with Russian culture and language.

VLADIMIR ALLOY. On Brodsky's poems

A discussion of Iosif Brodsky's poetic biography and of characteristic features of his poetry.

**VICTOR PERELMAN. /The Negation of Negation,
(from the author's autobiography Russia Left Behind).**

The author tells about the character and conditions of soviet press. Taking the so called "Abram Velikovsky's case" as a typical example, he tries to unmask all bigotry and lies of those who control the work of "ideological front" in the Soviet Union.

Our publication.

Подписывайтесь на ежемесячный журнал литературы и общественных проблем "Время и мы". В ближайших номерах рассказы Светланы Шенбрунн "Брат мой" и Бориса Хазанова "Страх", воспоминания Май Улановской "Конец срока — 1976", критические заметки Наталии Рубинштейн о творчестве Андрея Синявского, поэзия русского и еврейского Самиздата.

Чтобы подписаться на журнал, необходимо вместе с заказом послать чек по адресу: ул. Нахмани, 62, Тель-Авив, "Время и мы" (Nachmani st. 62, Tel-Aviv) или перечислить деньги по адресу: Israel Discont Bank L.T.D., branch Akiija account 140317.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

В ИЗРАИЛЕ

на 3 месяца - 49 лир 50 аг.

6 месяцев — 99 лир.

9 месяцев - 148 лир 50 аг.

12 месяцев - 198 лир.

Цена номера в открытой продаже - 22 лиры 50 аг.

В США И КАНАДЕ

сроком на 6 месяцев 19.60 \$

на 12 месяцев 39.20 \$

Цена номера в открытой продаже 4.5 \$

ВО ФРАНЦИИ

сроком на 6 месяцев - 78 F.FR.

на 12 месяцев - 156 F.FR.

Цена номера в открытой продаже - 19 F.FR.

В ГЕРМАНИИ

сроком на 6 месяцев 46 DM

на 12 месяцев - 92 DM

Цена номера в открытой продаже - 10 DM

ФОНД ДРУЗЕЙ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"

Решено основать Фонд друзей журнала "Время и мы". Средства Фонда будут расходоваться на поддержку деятельности этого журнала, привлечение к его работе наиболее одаренных русскоязычных писателей в Израиле и за его пределами, на издание лучших произведений евреев-писателей, как приехавших в Израиль, так и остающихся в России, на установление связей с русским и еврейским Самиздатом.

В правление Фонда вошли:

Израиль Бар-Шира, Егошуа А Гильбоа, Михаил Клявер, Яков Махт, Борис Орлов, Виктор Перельман, Наталия Рубинштейн, Йосеф Текоа.

Взносы направлять через банковский счет журнала "Время и мы" по адресу:

Israel Discont Bank L.T.D., branch Akirja account 140317.

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"

"LA PENSEE RUSSE"

"Русская Мысль" — самая большая еженедельная газета на Западе. Она выходит в Париже, каждый четверг, на 16 страницах среднего формата и предлагает своим читателям широкий обзор международных событий, статьи о вопросах религии и философии, о науке, литературе и искусстве, интересные архивные материалы, документы о жизни в СССР.

"Русская Мысль" — не только звено, объединяющее старую и новую эмиграцию, не только голос, доходящий до России, и голос России на Западе, но и окно, открытое на Запад...

Все, кто интересуется русским вопросом, читают

"РУССКУЮ МЫСЛЬ"

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР - ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

Адрес редакции и конторы:

"LA PENSEE RUSSE"

217, Rue du Faubourg St. Honore, 75008 Paris, France.

Tel. 227-05-79 766-21-83 924-94-47

Оплата подписки по ССР 5883-44 - Paris или чеком.

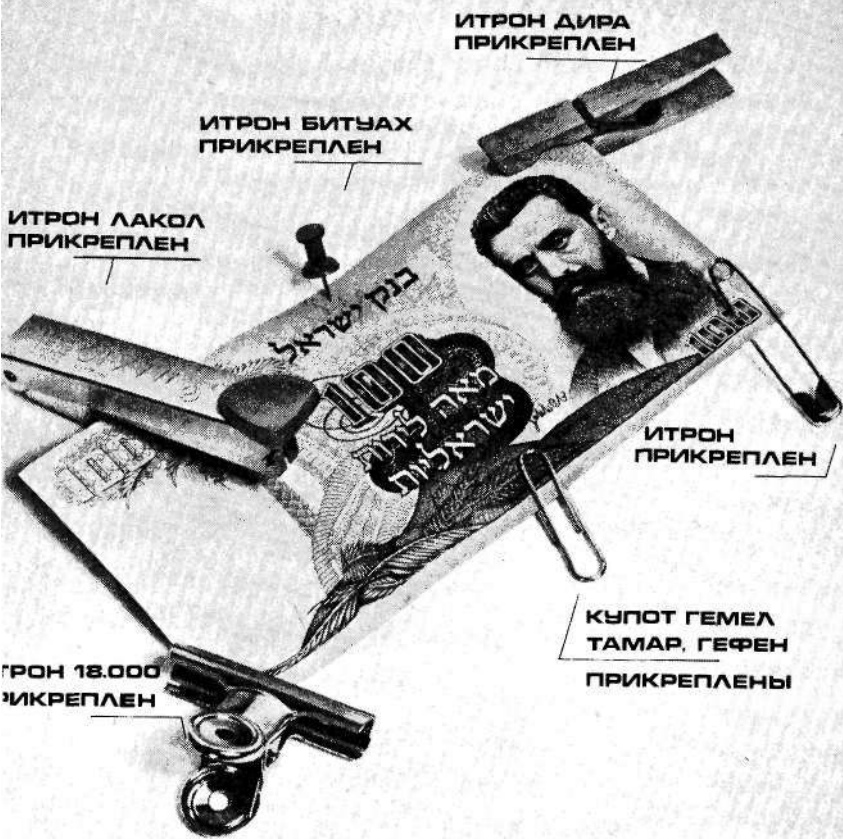
Подписная плата для ИЗРАИЛЯ
Простой почтой

12 мес.	130 франков
6 мес.	70 франков
3 мес.	39 франков

Воздушной почтой

12 мес.	170 франков
6 мес.	88 франков
3 мес.	49 франков

Цена отдельного номера IL. 2.75



**прикреплен...прикреплен...прикреплен...
прикреплен...прикреплен...**

«ДИСКОНТ» ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ БОЛЬШЕ

БОЛЬШЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПРИКРЕПЛЕННЫХ К ИНДЕКСУ;
БОЛЬШЕ ПЕНСИОННЫХ КАСС, СОХРАНЯЮЩИХ ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ СПОСОБНОСТЬ ВАШИХ ДЕНЕГ.
ОДРОБНОСТИ О СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОГРАММЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ В ЛЮБОМ ИЗ 205 ОТДЕЛЕНИЙ

Д банк дисконт л'исразль

Д банк барклис - дисконт

Любит — не любит...
Любит — не любит...

Не могут не нравиться плавяные сыры, которые производит фирма "Тнува". Каждый член семьи может по своему вкусу выбрать любой из 12 сортов сыра, выпускаемых фирмой "Тнува". Они особенно хороши в туристском походе, на прогулке или пикнике благодаря их удобной упаковке.

Художник Лев Ларский
Корректор Нина Островская
Технический редактор Наталия Ларская

Отвергнутые рукописи не возвращаются,и по поводу них редакция
в переписку не вступает.

**Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Нахмани, 62/9
п. я. 24123,Тель-Авив.
Тел .621085.**

**62/9 Nachmani st. T.A.
Tel: 621085.**

**На четвертой странице обложки рисунок Натана Фаингольда
"Яков и Рахель"**

